

*Научно-популярный журнал  
Института русского языка Академии наук СССР.  
Основан в 1967 году. Выходит 6 раз в год  
Издательство «Наука». Москва*

---

**№ 4, 1975 июль — август**

**В номере:**

---

- Н. Г. Михайловская. Памятник мужества и надежды . . . . . 3
- 

**ЯЗЫК ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ**

- Е. А. Василевская. Рылеев — трибун декабризма . . . . . 14  
Г. И. Седых. «Порыв к великому, любовь к добру...» . . . . . 21  
Н. Н. Скатов. Два стихотворения Пушкина . . . . . 28  
А. Т. Хроленко. «... И жар холодных числ...» . . . . . 38  
Н. М. Громова. Жизнь слова в поэзии Роберта Рождественского . . . . . 43
- 

**СЛОВО ПИСАТЕЛЮ**

- Лев Ошанин. Чтобы верили... . . . . . 51
- 

**КУЛЬТУРА РЕЧИ**

- Р. И. Аванесов. Беседы о русском произношении . . . . . 60  
Р. А. Будагов. Эстетика языка (статья 1-я) . . . . . 63  
А. В. Чичерин. Устная речь как искусство . . . . . 72
- 

**ГРАММАТИКА. СТИЛИСТИКА**

- Л. И. Ручко. Союзы цели в русском языке XVIII века . . . . . 78  
И. Е. Гальченко. Непереводимые осетинские слова в русской художественной речи . . . . . 81
- 

**ВЫДАЮЩИЕСЯ ЯЗЫКОВЕДЫ**

- В. В. Колесов. Алексей Иванович Соболевский . . . . . 85
-

---

**ИЗ ИСТОРИИ СЛОВ И ВЫРАЖЕНИЙ****К. П. Смолина** *Имя*

93

*С. И. Котков*

---

**ИСТОРИЯ ПИСЬМА И КНИГИ**

С. И. Котков. <i>Потягу</i> в «Слове о полку Игореве» и созвучные факты XVII века . . . . .	114
Т. Ф. Ващенко. Кабальные книги . . . . .	117
А. И. Дундайте. Древнерусские суффиксы . . . . .	121

---

**ОБЛАСТНЫЕ ГОВОРЫ**

Ф. П. Сороколетов. Сокровищница русского народного слова . . . . .	125
--	-----

---

**ШКОЛА**

А. А. Брагина. Язык наш — язык мой . . . . .	131
Н. В. Чурмаева. Листая учебник . . . . .	139

---

**НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ**

Консультируют член-корреспондент АН СССР Р. И. Аванесов и зав. сектором культуры русской речи Института русского языка АН СССР Л. И. Скворцов	144
Практикум по стилистике . . . . .	103, 143, 147

---

**ПОЧТА «РУССКОЙ РЕЧИ»**

Самовитый . . . . .	91
Хлебороб; Жар — жара; Выходная одежда; Универсам; Мансарда; Ростральная колонна . . . . .	148

*На обложке: К. Ф. Рылеев.*

*Рисунок Б. Захарова*

*При перепечатке  
ссылка на журнал «Русская речь»  
обязательна.*



# ПАМЯТНИК МУЖЕСТВА И НАДЕЖДЫ

В 1958 году при раскопке территории бывшего фашистского концлагеря Заксенхаузен (20 километров к северу от Берлина) бригадир строителей Вильгельм Герман в развалинах барака, служившего кухней «зондерлагеря», обнаружил блокнот, на обложке которого стояли слова: «Незабываемое. Стихи в плену». Вильгельм Герман передал находку советскому офицеру старшему лейтенанту Молоткову.

Вы память святую о них сохраните,  
Запомните их имена  
И в песне погибших борцов вспомните,  
Когда запоет вся страна.

Неизвестный поэт из Заксенхаузена.  
Завещание

Это краткое предисловие (приведенное с сокращением) предпослано подборке из 13-ти стихотворений в сборнике «Советские поэты, павшие на Великой Отечественной войне» (М.—Л., 1965). Почти все стихотворения из Заксенхаузена опубликованы в книге «Стихи за колючей проволокой» (1959). Вторую часть книги составляет «Повесть о поисках автора блокнота» (Андрей Елкин, Василий Кулемин), где содержится большой фактический материал и приводится ряд стихотворений, созданных в лагерях смерти — Бухенвальде, Равенсбрюке и других (в дальнейшем изложении цитаты приводятся по указанному изданию).

Сила этих стихов заключается в глубокой искренности и правде жизни, недостающей порой совер-

шенным по форме произведениям. Эти стихи говорят о стойкости советских людей, которые, оказавшись в невероятно тяжелых условиях, сберегли свое достоинство, честь, верность Родине. Эти стихи — памятник не только их авторам, так и оставшимся неизвестными, но и всем советским военнопленным, прошедшим через ад фашистских лагерей. И судить об этих стихах в первую очередь нужно с позиций самых высоких — человеческих и гражданских.

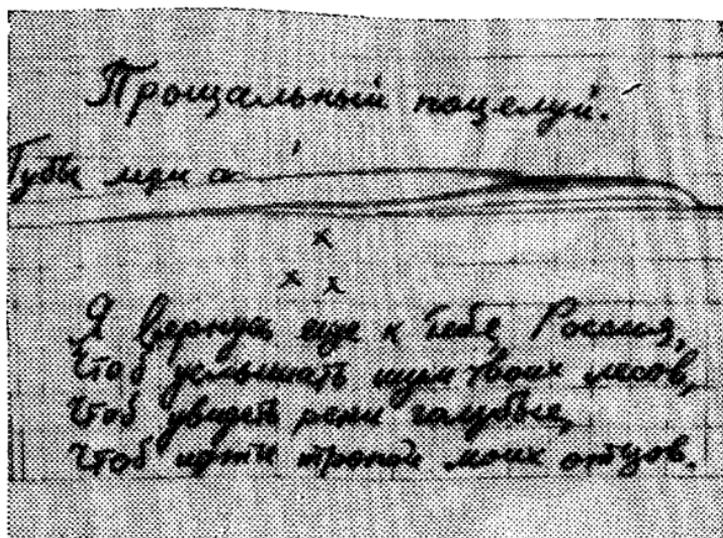
\*

Стихотворения из Заксенхаузена разнообразны по своим мотивам и жанру. Баллада, лирическое стихотворение, монолог, строки воспоминаний... Все стихи объединяет основная тема — тема любви и преданности Родине. Классический образ матери-Родины воплощен в стихотворении «Я вернусь еще к тебе, Россия», начальные слова которого легли в основу широко известной песни:

Я вернусь еще к тебе, Россия,  
Чтоб услышать шум твоих лесов,  
Чтоб увидеть реки голубые,  
Чтоб идти тропой моих отцов.

Я, как сын, люблю тебя, Россия,  
Я люблю тебя еще сильнее,  
Милые просторы голубые  
И безбрежность всех твоих морей!

Эти строки приобретают огромную силу, если вспомнить, что они, может быть, написаны накануне казни. Конструирующей основой является своеобразная ось *я* (автор) — *ты* (Россия). Многократное повторение личного местоимения *я* в цитируемом стихотворении («не был я давно в густых дубравах»; «но я каждый день и миг с тобою»; «я, как сын, люблю тебя, Россия») постоянно взаимодействует с прямым обращением к Родине («с тобою», «к тебе», «тебя, Россия»). В осознании своей неразрывной связи с Родиной человек черпает новые силы жить и бороться. Поэтому не случайно в стихах, написанных в фашистских застенках, подчеркивается близость автора со своим народом, несмотря на вынужденную оторванность от него, на дальность расстояний. То, о чем писали неизвестные поэты из Заксенхаузена, волновало и мучило тысячи людей, заключенных в гитлеровские казематы. Об этом свидетельствует тот факт, что стихотворения из Заксенхаузена знали заключенные Бухенвальда,



Равенсбрюка и других лагерей смерти,— это, в частности, заставляет предполагать, что стихотворения из Заксенхаузена принадлежат нескольким авторам. И если мы обратимся к стихам, написанным советскими людьми в гитлеровских тюрьмах и лагерях, то увидим, что темы этих стихов аналогичны темам тетради из Заксенхаузена.

\*

До нас дошло стихотворение, принадлежащее А. А. Меркулову, который содержался в одиночке гестаповского застенка в Крустпилсе в июне 1944 года:

Наяву завидую я птицам,  
Облакам, плывущим на восток,  
Там моя любимая столица,  
Там живет любимый мой народ.

«Я в плену в краю чужом, далеком!..»

И еще одно стихотворение, созданное в 1943 году в лазарете штрафного лагеря бывшим военнопленным Николаем Фомичевым. На своем сборнике «Забывать нельзя» (Советский писатель, М., 1960) поэт поставил посвящение: «Бывшим узникам фашистских лагерей»:

Далекая, любимая Россия!  
Идущая ко мне на помощь мать!  
Жить без тебя — как столбовой дорогой  
Шагать к несчастью,  
Сеять, но не жать.

«Любовь к родному краю погаси я...»

Здесь проходит тот же поэтический образ матери-Родины и ее сына, здесь тот же смыслообразующий стержень *я — ты*, что и в стихотворении «Я вернусь еще к тебе, Россия...».

Образ России отражает не только тоску по Родине: он встает как вечный стимул борьбы и непокоренности. В стихотворении «Сыну» неизвестный поэт из Заксенхаузена писал:

Но никакие строгости, родимый,  
Не в силах вырвать память о тебе.  
Я весь с тобой и с Родиной любимой—  
В страданиях совместных и борьбе.

Заключенный фашистского концлагеря не переставал осознавать себя советским человеком. В стихотворении, написанном в Фельдлагере в 1943 году, Николай Фомичев обращался ко всем землякам, брошенным в фашистские застенки:

Для того,  
Чтоб людьми называться,  
Мы бороться должны сообща!  
Не об этом ли многие годы  
Говорила нам Родина-мать?  
Или нас, оторвав от народа,  
Разучили ее понимать?

Письмо невольника к своим землякам,  
находящимся в других лагерях

В это же время, в Моабитской тюрьме рождались пламенные строки Мусы Джалиля:

Холодное тело засыплет земля, —  
Песнь огневую засыпать нельзя!  
Умри, побеждая, и кто мертвецом  
Тебя назовет, если был ты бойцом?

Не верь!

\*

Не каждый человек рожден борцом. Но столкнувшись с самыми страшными сторонами фашизма, заключенный приходил к неизбежности борьбы. Осознание необходимости активного противодействия нередко сопровождалось внутренним перерождением человека, что подчас требовало отказа от прежних взглядов и убеждений. Бывший узник Заксенхаузена И. С. Нехаев прислал стихотворение, которое было написано в концлагере карандашом на досках нар:

Молюсь и ночью и денницей:  
 Всевышний, землю пожалей  
 И всекарающей десницей  
 Адольфа Гитлера убей!  
 Приди к страдающим и сирым,  
 Приди и укроти войну.  
 Всевышний, будь со мною, с миром..  
 Не будешь с нами — прокляну.  
 Молюсь, но в сердце нет молитвы...  
 Коцитный пепел. Неба клоч.  
 А в сердце гнев и жажда битвы.  
 И проклят Гитлер, проклят бог!..  
 Молитва

Кто был автор этих стихов? Пацифист по убеждению? Бывший священник по социальному положению? Трудно сказать. Возможно, такие слова как *денница*, *всекарающая десница*, *сирые* были для автора не столько, так сказать, средствами поэтики, сколько профессионализмами. Отметим, что в приведенном тексте слово *земля* («землю пожалей») имеет значение 'человеческий мир, мир людей' и указанное значение, свойственное слову *земля*, ведет свое начало из церковной литературы. Но в данном случае существенным представляется не определение социальной принадлежности неизвестного автора, а его психологический перелом: крушение христианских догм приводит к признанию активной борьбы — на смену «молитве» приходит «гнев» и «жажда битвы». Тот, к кому обращена мольба и надежда («всевышний»), предается проклятью наравне с Гитлером.

\*

В стихах из Заксенхаузена мотивы борьбы и веры в будущую победу находят разнообразное выражение. В одном случае стихотворение звучит как призыв продолжать борьбу несмотря на гибель товарищей; как символ борьбы и свободы реет красное знамя. В стихотворении отчетливо ощущаются отзвуки Интернационала и революционных песен:

Тогда подымайтесь и грозно и смело,  
 Ни жизни, ни сил не щадя,  
 И песню запойте про правое дело,  
 В бой грозный, последний идя.

. . . . .  
 Под Красное знамя пойдут миллионы,  
 И будет их поступь сильна,  
 Падут под ударом врагов легионы,  
 Моя возродится страна.

Завещание

В других стихотворениях («Гибель героя», «Баллада о восьмерых») рассказывается о товарищах, пожертвовавших жизнью в неравном бою с гитлеровцами. Безыскусственная форма «Баллады о восьмерых» сочетает в себе разговорные обороты, переданные и как прямая речь («Эхма! Коль нам придется помирать, То с музыкой», — тогда друзья сказали), и в составе авторской («И началась лихая потасовка»), с элементами книжно-литературными, имеющими торжественную окраску: «с доблестью орлиной», «судбина», «враг пленил».

По своему содержанию стихи о погибших друзьях контрастируют со стихами, в которых клеймится позором и презрением предатели. Одно из самых сильных стихотворений из Заксенхаузена озаглавлено «Заблудившемся». Здесь проявляется влияние творчества Некрасова и Шевченко, сказывается близость с народной поэзией. Стихотворение строится главным образом на последовательно чередующихся риторических вопросах. В то же время в лексическую основу стихотворения положены народно-разговорные слова и обороты, и сочетание вопросительных предложений с данной лексической формой составляет собственно языковую специфику стихотворения. В данном случае гражданственный пафос выражается всем идейно-эмоциональным внутренним содержанием стихотворения:

Я гляжу, и становится стыдно  
Оттого, что забыл ты своих.  
Ой, до слез-таки больно, обидно,  
Что ты служишь делу чужих.

Или, может, ты был чем обиженный,  
Иль учиться не мог, иль бесправным ты был?  
Иль в народе своем был униженный?  
Почему ты стране изменил?

Противопоставление по содержанию внутри строфы выражает одну из главных мыслей автора — изменник предаёт не только Родину, но и самых близких людей:

Может, думал, немецким солдатом  
Будет легче, отраднее жить...  
Отчего ж убиваешь ты брата  
И зачем хочешь маму убить?

Авторское я как непосредственное употребление личного местоимения отмечается только в первой строке («Я

Обложка  
блокнота  
стихов  
бывших  
узников  
Заксенхаузена



гляжу, и становится стыдно»); весь же последующий контекст строится как обращение к изменнику.

Иными средствами та же тема воплощена в стихотворении Мусы Джалиля «Другу»: риторические восклицания совмещают сочетания максимальной экспрессивной насыщенности, которая создается принадлежностью отдельных лексических единиц к различным стилевым пластам: с одной стороны, народно-разговорному, с другой — торжественно-высокому. Отношение поэта к измене выражается прежде всего через его индивидуальное *я*:

Чем, шкуру сохранив, забыв о чести,  
О, пусть я лучше стану мертвецом!  
Какая это жизнь, когда Отчизна,  
Как Кайну, плюет тебе в лицо!

По всей вероятности, автором «Заблудившемуся» был тот же заключенный, который написал стихотворение «Ухабы», так же входящее в тетрадь, найденную в Заксенхаузене. Темы этих стихов близки: если в первом стихотворении поэт обращается к земляку, ставшему изменником, то второе адресовано женщине, забывшей о своей Родине. Здесь тот же прием прямого обращения, те же вопросительные конструкции, та же безыскусственная разговорная лексика, наконец, тот же стихотворный размер:

Гладь дороги прямой разве узкая?  
Так зачем же идти стороной!  
Отчего же ты, девушка русская,  
Хочешь стать непременно иной?

.....  
Так зачем же ты лезешь из кожи,  
Чтоб накрыться чужой скорлупой?  
Хочешь стать на себя не похожей,  
А становишься просто смешной!

Ухабы

Как контраст с тем, что окружает человека в лагере смерти, встают воспоминания о родных и близких. Воспоминания приходят в минуты кратковременной передышки, в короткие часы сна:

Дочурка мне привиделась во сне.  
Пришла, пригладила мне чуб ручонкой.  
«Ой, долго ты ходил!» — сказала мне,  
И прямо в душу глянул взор ребенка.

.....  
Проснулся я... Как прежде, я в тюрьме,  
И камера угрюмая все та же,  
И те же кандалы, и в полутьме  
Все то же горе ждет, стоит на страже.

Муса Джалиль. Сон в тюрьме

\*

Во многих стихотворениях из Заксенхаузена лирическая струя сливается с темой родной природы. Можно отметить такие строфы, которые текстологически свидетельствуют о несомненной принадлежности одному автору:

Думаю об образе любимом,  
О тебе, о песнях тополей,  
О Днепре, могучем и бурливом,  
И душе становится теплей.

«Месяцы сменяются годами...»

Хочу побродить по борам и лесам,  
Погулять над Днепром шумливым,  
Весенней порою спешить по лугам  
На свиданье к своей любимой.

Желание

Остановимся еще на одном стихотворении из Заксенхаузена, которое носит название «Другу, которого нет»:

Ну с кем поделиться сосущей тоской,  
Излить и невзгоды и радость,  
Развеять волнений навязчивый рой,  
Изведать и горе и сладость?

.....  
С тобою одним только искренен я,  
Тебе лишь поведаю тайны.  
Я знаю, продать ты не сможешь меня,  
Нас враг не услышит случайно.

\*

С точки зрения современной поэзии и поэтики могут показаться наивными и выпранными такие выражения, как *излить и невзгоды и радость; изведать и горе и сладость; поведаю тайны*, и рядом — глагол *продать* в современном переносном значении 'совершить измену из корыстных побуждений'. Да, конечно, совсем нетрудно установить, что сочетания типа *изведать и горе и сладость* были широко употребительны в русской поэзии XIX века, что самый лейтмотив стихотворения, мотив тоски и одиночества, присущ многим произведениям, написанным более 100 лет назад, в частности, произведениям М. Ю. Лермонтова. Но дело совсем не в этом: ведь автором мог быть вчерашний советский школьник, для которого Лермонтов был любимым поэтом. Мотивы «лермонтовской» тоски и одиночества приобретают трагедийную силу. Можно лишь догадываться, что тайны, о которых не должны были знать фашисты и о которых автор говорит намеком, могли стоять жизни — а, возможно, и стоили жизни — ему и его товарищам.

Если характеризовать рассмотренные стихотворения в плане стилистики, то в них проявляется публицистическая струя. Вместе с тем в стихотворениях широко представлены песенные формы, близкие фольклорным. Это и понятно: песенные ритмы способствовали лучшему запоминанию, текст становился более легким для усвоения и передачи. Так, стихотворение «Гибель героя» написано в размере широко известной песни «Раскинулось море широко».

В заключительной строфе содержится дословное повторение строки из песни:

Напрасно старушка ждет сына домой,  
И девушка поздно рыдает —  
Он честно сражался и пал как герой  
И больше волнений не знает.

Вероятно, «Гибель героя» и было песней; ассоциация создавала как бы дополнительную связь с родной страной, с довоенными годами, когда заключенные были мальчишками и пели «Раскинулось море широко». Стихотворение почти лишено приемов, составляющих собственно поэтический арсенал, и только когда автор говорит о матери героя, он употребляет сравнительный оборот, сочетающий внутренний и внешний образ:

Лишь мать будет помнить о сыне своем,  
Никто не заменит ей сына:  
Как горькая, скорбная память о нем,  
На волосы лягут седины.

В рассматриваемом плане показательна и «Песня девушек из концлагеря Равенсбрюк»; автор ее — узница Зинаида Голубева. Песня, получившая широкую известность среди заключенных других фашистских лагерей, входит в число стихотворений в тетрадь из Заксенхаузена:

Мы живем по соседству с Берлином —  
Островок, окруженный водой.  
Там лежат небольшая равнина  
И концлагерь за мрачной стеной.

В песенном жанре поэзии концлагерей прежде всего находят отображение конкретные условия жизни заключенных:

Нас в четыре утра поднимают,  
Второпях воду теплую пьем.  
А потом на апель выгоняют,  
А потом на работу идем.

«Песня девушек из концлагеря Равенсбрюк» оказала несомненное влияние на стихотворение «Из Германии чуждой, далекой...», написанное в форме письма к матери. В стихотворении та же композиция, тот же размер, дословно повторяется строка из «Песни»:

Я живу по соседству с Берлином,  
Где концлагерь огромный стоит,  
Где палач может душу всю вынуть,  
Где неправда и ужас царит.

На работу нас гонят резиной.  
Изнуряет работа совсем.  
Три картошки дают, как скотине,  
Ты голодный работаешь день.

Стихотворения, написанные в фашистских застенках, многоплановы. Почти в каждом из них отражено несколько тем. Центральная тема Родины является как бы призмой, через которую преломляются другие темы: борьба с фашистами, солидарность заключенных, ненависть к предателям, воспоминания о родных и близких. Именно эти качества придают стихам большую общественную значимость, лишают их узкой «камерности». Вероятно, до нас дошли далеко не все стихи, созданные советскими людьми в гитлеровских концлагерях. Не все они равноценны по своему поэтическому мастерству, но все они являются историческими документами, свидетельствующими о несгибаемом мужестве советского человека. Свои стихотворения заключенные создавали, рискуя жизнью, и поэзия была для них тем же оружием, тем жизненно необходимым средством, которое помогло им выстоять и сохранить высокое звание советского человека. Лучше всего об этом сказал неизвестный поэт из Заксенхаузена:

Но ведь я и писал не для славы,  
Я лишь слушался голоса сердца.  
Пусть погибнут стихи, но по праву  
Будут вместе со мной перед смертью.

«Все, что я написал за короткие годы...»

*Н. Г. МИХАЙЛОВСКАЯ*



## РЫЛЕЕВ — ТРИБУН ДЕКАБРИЗМА

Кондратию Федоровичу Рылееву принадлежит крылатое изречение: «Я не поэт, а гражданин».

В этой формуле звучит высокий пафос гражданского служения Родине и утверждается великая роль поэта-борца за народное счастье.

В эпоху жесточайшего произвола крепостничества и полицейского террора гулом набата прозвучали вольнолюбивые стихи Рылеева.

На развитие идей декабризма сильное влияние оказало национально-освободительное движение, вызванное Отечественной войной 1812 года, освободительные походы русской армии, гражданские традиции А. Н. Радищева, Я. Б. Княжнина, свободолюбивая поэзия Пушкина.

О том, как звучали строки Рылеева в первой четверти XIX столетия, поведал его друг и единомышленник А. А. Бестужев: «... Окруженные шпионами деспотизма, посреди рабских похвал, посреди боязливой лести и трусливого подобоострастья, посреди целой империи, стнящей под игом тяжкого самоуправства, мы вдруг внимаем голосу поэта, возвещающему нам высокие истины,

впервые нами слышимые, но знакомые нашему сердцу» (И. Семенов. Поэтическое наследие декабристов, Л., 1960).

Свободолюбивые идеи декабризма требовали новых средств языкового выражения. Устав «Союза Благоденствия» требовал от писателей создания стиля, призванного служить высоким освободительным идеям, особое внимание при этом обращалось на обогащение языка.

Однако социально узкие, экспрессивно однообразные стили последователей Карамзина не могли стать средством выражения высоких гражданских идей. Об этом с горечью писал В. К. Кюхельбекер в статье «О направлении нашей поэзии, особенно лирической в последнее десятилетие: «Из слова же русского благородного и мощного силится извлечь небольшой благопристойный, приторный, искусственно тощий, приспособленный для немногих язык...» (Мнемозина. П., 1824).

Декабристы не могли ограничиться средним слогом, приспособленным для немногих. Они искали и находили средства выражения высокого стиля в торжественной церковно-книжной лексике и фразеологии, семантически переосмысленной, в сказаниях и думах, в фольклоре, в образах далекого прошлого, где они видели примеры гражданской доблести.

Новый высокий стиль революционного романтизма впитал в себя мотивы «Слова о полку Игореве», лексику и фразеологию летописей, героические сказания русского народа, поэтическое наследие Ломоносова, Державина, особенно Радищева, частично поэтов-радищевцев И. Пнина, В. Попугаева, В. Борна.

Общественно-политический словарь революционных романтиков, обогащенный декабристами и А. С. Пушкиным, содержал ключевые лексемы-символы и фразеологические формулы, которые были связаны с борьбой за свободу («Любовь к общественному благу», «Любовь к согражданам своим», «Знамена свободы», «Верный сын отчизны», «Гражданское мужество», «Душа без вольности тоскует»), слова-символы (свобода, воля, вольность, отчизна, отечество, родина, гражданин, гражданка, гражданство, борьба, борение) и контрастно противоположные им выражения (тиран, власть ужасная, деспот, самовластие, самодержавие, иго, ярем, рабство, оковы, цепи).

Все эти слова и выражения обильно представлены в первом опубликованном произведении Рылеева — сатирической оде «К Временщику» [цитируется по изданию: К. Ф. Рылеев. Полное собрание сочинений, М. — Л., 1934].

Стиль этой оды показывает, что Рылеев широко пользуется церковно-книжной лексикой и фразеологией. Стиль оды-сатиры напряженный, содержащий много повторов, вопросительных и во-

склицательных конструкций:

Надменный временщик, и подлый и коварный,  
Монарха хитрый льстец и друг неблагодарный,  
Неистовый тиран родной страны своей,  
Внесенный в важный сан пронырствами, злодей!

Центральный образ данного произведения — образ тирана: «Неистовый тиран родной страны своей»; «тиран, вострепещи» (К Временщику); «Вражда к тиранству закипит» (Волынский); «Одни тираны и рабы его внезапной смерти рады» (На смерть Байрона); «Доколь нам, други, пред тираном склонять покорную главу» (Дмитрий Донской) и другие.

Г. А. Гуковский в своей монографии «Пушкин и русские романтики» (М., 1965) подчеркивает: «Достаточно было сказать в эту пору *тиран* или, наоборот, *вольность*, — и весь ряд идей французской революции немедленно возникал в сознании читателя. В этом был скрыт существенно новаторский принцип семантики, связанный с новыми формами мировоззрения».

Образ тирана (Аракчеева) дан автором в контексте следующими выразительными определениями, рисующими коварство и подлость организатора военных поселений: *подлый, коварный, хитрый льстец, злодей, подлец*.

Другим организующим словом-символом поэзии Рыльева является слово *гражданин*. В стихотворении «Гражданин» Рылев пишет:

Я ль буду в роковое время  
Позорить гражданина сан...

Следует отметить, что слово *гражданин*, носившее в себе заряд революционного звучания, жестоко преследовалось царской цензурой. Через семь лет после выхода в свет «Путешествия из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева Павел I в 1797 году издает декрет об изъятии из употребления некоторых слов и замене их другими. К числу таких слов относились *общество, гражданин, отечество*. Сравним значение слова *гражданин* у Рыльева, Радищева и в Словаре Академии Российской 1806—1822 годов: «Гражданин! Может ли государство, где две трети граждан лишены гражданского звания и частью в законе мертвы, называться блаженными?..»; «Варвар, недостойн ты носить имя гражданина» (Радищев). «Гражданин... городской житель, обыватель» (Словарь Академии Российской 1806—1822 годов). «Ярмо граждан его тревожит»; «Я не поэт, а гражданин»; «Она могла, она умела Гражданкой и супругой быть» (Рылев).

Слова общественно-политического значения *гражданин, гражданка, гражданский, гражданское мужество*, выражавшие сво-

бодолюбивые идеи, пронизывают вольнолюбивую поэзию Рылеева.

Вновь зазвучавшие в поэзии декабристов славянизмы семантически преобразовывались.

Источником высокой лексики в поэзии декабристов было и употребление античных имен и названий. В частности таких, как Брут, Катон, Цицерон, напоминающих о тех, кто боролся с тиранией.

Литературное наследие К. Ф. Рылеева значительно по тематике, постановке актуальных проблем, разнообразно по жанрам.

Он писал оды, элегии, послания, сатиры, думы, поэмы, эпиграммы, песни.

К. Ф. Рылеев упорно и долго работал над своими произведениями. Достаточно сравнить чеканные строки окончательного варианта с предварительным в думе «Святополк», чтобы получить представление о большой творческой работе Рылеева над черновиками.

<i>Первоначальный вариант</i>	<i>Окончательный вариант</i>
Вот в мире до чего людей	Ужасно быть рабом страстей!
Доводят гибельные страсти!	Кто раз их предался стремленью,
Наверно будет тот злодей,	Тот с каждым днем летит быстрее
Кто не содержит их во	От преступленья к преступленью.
власти!	

Характерной чертой творческой манеры декабристов является неоднократно отмеченная исследователями метафоризация слов-символов: *звезда, заря, буря, огонь, пламя* и других.

Бурю народного гнева Рылеев изображает в виде лавы, которая тлеет под щеплом, готовая взорваться каждое мгновение:

Вражда к тиранам неприметна,  
Спокойны гордые умы;  
Но так порой спокойна Етна  
Под хладным черепом зимы.

*Отрывки неоконченных произведений*

Вобрав в себя все «нервные» узлы общественно-политической лексики своей эпохи, декабристы создали особую стилистическую систему гражданской поэзии.

В своих думах и поэмах Рылеев обращался к истории, искал примеры гражданской доблести и мужества. Следует заметить, что некоторые произведения Рылеева антиисторичны по своей направленности, за что Рылеева в свое время упрекал А. С. Пушкин, небезосновательно утверждавший, что Рылеев декабристские призывы и собственные вольнолюбивые чаяния вкладывал в уста древнерусских героинь Ольги и Рогнеды, давал исторически иска-

женный образ Мазепы. С этой точки зрения чрезвычайно интересна переписка Пушкина и Рылеева, характеризующая их дружбу-дискуссию.

Думы Рылеева: «Олег Вещий», «Святослав», «Рогнеда», «Мстислав Удалой», «Курбский», «Иван Сусанин» — менее насыщены архаической лексикой и фразеологией, в них отсутствует патетическая напряженность.

Особый интерес вызывают песни Рылеева, в основе которых лежат фольклорные мотивы, с традиционными эпитетами *родная страна, тяжелая доля*, рефрены и повторы, просторечная лексика и фразеология:

Долго ль русской народ  
Будет рухлядью господ,  
И людьми,  
Как скотами,  
Долго ль будут торговать?  
«Ах, тошно мне...»

Здесь, как отмечалось исследователями, — простонародная форма *людьми* и просторечное слово *рухлядь*, разговорные и фольклорные формы синтаксиса с приемами единоначатия.

В песнях Рылеева встречается много пословиц и поговорок, рисующих тяжелое положение крепостных крестьян («По две шкуры с нас дерут; Мы посеем, они жнут...») («Ах, тошно мне...»); обличение суда, взяточничества («Без синюхи Судьи глухи, Без вины ты виноват») (там же).

Широко употреблял поэт древнерусские топонимы и омонимы (Олег вещий, Ольга, Баян, Игорь, Святополк, Святослав, Рогнеда, Владимир-солнце, дружина, гридница и другие).

В песнях, написанных Рылеевым совместно с Бестужевым, совершенно отсутствует церковно-книжная лексика и фразеология, много содержится пословично-поговорочных выражений, например: «Так мотай себе на ус»; «Без вины ты виноват»; «Все в неволе, В тяжелой доле, видно век вековать?». Возникшие на базе фольклора, они впоследствии сами превратились в народные песни.

Так сложна и многопланова была эволюция поэтического стиля К. Ф. Рылеева. Сложен был жизненный и творческий путь Рылеева.

В. И. Ленин в статье «Памяти Герцена» писал: «Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа. Но их дело не пропало» (В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 21, стр. 255—262).

Оторванность от народа была одной из основных причин поражения восстания декабристов. Обреченность своего дела пони-

# ДУМЫ.

Сочинение  
и К. РЫЛЕЕВА.



Москва  
Во Типографии Свободныхъ мнений  
1826.

мали лучшие из них и прежде всего глава Северного общества Рылеев, ярко выразивший это в исповеди Наливайки:

Известно мне: погибель ждет  
Того, кто первый восстает  
На утеснителей народа;  
Судьба меня уж обрекла.  
Но где скажи, когда была  
Без жертв искуплена свобода?

Наливайко

Рылеев как бы предвидел свою собственную судьбу. Он был приговорен к смертной казни. Сочинения его были запрещены. Однако они распространялись нелегальным путем в многочисленных списках и продолжали по-прежнему будить мысль, волновать сердца. В 50—60 годах XIX века они были опубликованы Герценом за границей. В России они начали печататься только с 1861 года.

Поражение восстания привело к разгрому декабристской литературы: прекратил свое существование лучший альманах России того времени «Полярная звезда» (1823—1828), основанный Рылеевым совместно с А. А. Бестужевым.

Продолжение «Полярной звезды» под названием «Звездочка» было изъято во время ареста декабристов и впоследствии уничтожено. Однако дело декабристов не пропало. Подчеркивая свою идейную связь с движением декабристов, название «Полярная звезда» дал своему литературно-политическому альманаху А. И. Герцен, издававший его совместно с Н. П. Огаревым за границей. На обложке альманаха был изображен К. Ф. Рылеев в числе пяти казненных вместе с ним декабристов.

Голос Рылеева не был одиноким голосом. Целое поколение декабристов оставило нам замечательное наследие. Пламенные строки Рылеева, посвященные Отчизне, гражданскому мужеству, общественному благу, по-своему отразились в стихотворениях Полежаева, Огарева, Лермонтова, Некрасова и других поэтов.

Доцент

Е. А. ВАСИЛЕВСКАЯ

---

Рылеев обнимает Пушкина и поздравляет с Цыганами. Они совершенно оправдали наше мнение о твоём таланте. Ты идешь шагами великана и радуешь истинно Русские сердца. Я пишу к тебе: ты, потому что холодное *вы* не ложится под перо; надеюсь, что имею на это право и по душе и по мыслям. Пушкин познакомит нас короче. Прощай, будь здоров и не ленись: ты около Пскова: там задушены последние вспышки Русской свободы; настоящий край вдохновения — и неужели Пушкин оставит эту землю без Поэмы.

Письмо К. Ф. Рылеева А. С. Пушкину.  
Петербург. Январь, 1825

---



В. К. Кюхельбекер

Пожалуй, в наиболее заостренной форме удалось Кюхельбекеру высказать свои сокровенные мысли в знаменитой лекции о русском языке, прочитанной им в Париже в 1821 году. Не случайно идеи молодого русского поэта так понравились французским «якобинцам» и вызвали неудовольствие царского правительства. Основная идея филологических размышлений Кюхельбекера была подчинена его идеологическим взглядам, политическим убеждениям. Отстаивая свою точку зрения, Кюхельбекер выдвинул следующее теоретическое положение: для того, чтобы стать вполне русским, то есть быть самостоятельным в литературе, необходимо, наконец, сбросить «цепи... немецкого и английского владычества» и обратиться к поэзии своего народа, который «обладал неизмеримо лучшим слухом и вкусом которого не был испорчен» (Литературное наследство. М., 1954). Далее поэт с пафосом утверждает, что русский язык богат, выразителен, свободен, гармоничен, он — «душа нации». Но дух народа, отразившийся в свойствах национального языка, находится в вопиющем противоречии с тем рабским, унижительным полсжением, в которое народ поставлен государственной деспотией. Такой взгляд был присущ многим поэтам-декабристам. У Кюхельбекера он осложнялся совершенно романтическими представлениями о свободном духе русского языка, якобы сохранившем память о вечевой республиканской воле-

лице древнего Новгорода. Выражая идеи передовой части русского общества, политические идеи декабризма, Кюхельбекер приходит к убеждению, что «никогда этот язык не терял и не теряет память о верховной власти народа... Доныне слово вольность действует с особой силой на каждое подлинно русское сердце» (там же).

Эти филологические воззрения юного Кюхельбекера на природу и историю русского языка стали впоследствии краеугольным камнем его поэтической деятельности. Представление о поэзии как о высоком ремесле, а о поэте — как о певце, пророке свободы Кюхельбекер сохранит до последних своих дней. Десятилетие спустя, когда Кюхельбекер перенес... годы заточения, сибирского поселения, он мучительно признавался:

И грязный труд, и вопль глухой нужды,  
И визг детей, и шум, и стук работы  
Перекричали песнь златой мечты...

Исфранлу

Однако и в эти трагические для поэта мгновения жизни он не теряет силу духа, потому что продолжает верить в «святые таинства высокого искусства»:

Пока огонь небес в поэте не потух,  
Поэта и в цепях еще свободен дух!

Элегия

Главное убеждение Кюхельбекера («В поэтов верует народ!...») становится основным лейтмотивом всего его поэтического творчества.

«Порыв к великому...» является не только высокой поэтической декларацией, но и важнейшим конструктивным принципом, последовательно проводимым Кюхельбекером в поэтике. Это особенно отчетливо ощущаешь при анализе лексики, отобранной поэтом для своих произведений. «Высокость» у Кюхельбекера приобретают и стилистически нейтральные слова, даже традиционные словоупотребления, давно превратившиеся в расхожие поэтизмы.

Такой популярный синонимический ряд («глаза — взор — зрак — очи») широко используется предшественниками и современниками Кюхельбекера. Бесспорно, по степени распространенности приоритет здесь принадлежит поэтизму *очи*, особенно в сочетании с рифмой *ночи*. В романтической лирике поэтическое слово *очи* связывалось в читательском представлении с возвышенным, одухотворенным, благородным, величественным лицом. Кюхельбекер также не избегал рифмы, которая была у всех, что называется, на слуху: «Словно звезды, дети ночи, На усталую волну, — Мне лазоревые очи В грудь пролили тишину» (Второй раз-

говор с Исфранлом). Казалось бы, поэт просто следует традиционной схеме, предлагавшей банальный поэтический ход с условной, стершейся рифмой. Если же рассмотреть функционирование поэтизма *очи* более широко, в контексте всего творчества Кюхельбекера, то обнаруживается примечательное явление. Оказывается, что в его стихах употребление традиционной рифмы было продиктовано отнюдь не чисто техническими причинами, а смысловым заданием, Кюхельбекер вообще отказывается воспевать каких бы то ни было «красавиц с дивными очами», а если говорит о *божестве*, то в преломлении к излюбленной им теме — теме поэт — пророк:

А я и в ссылке и в темнице  
Глагол господень возвещу!  
О боже! я в твоей деснице,  
Я слов твоих не умолчу!

Пророчество

Когда Кюхельбекер пишет о лазоревых очах, надо полагать, что этот образ менее всего соотносим с устойчивым поэтизмом, характерным для романтической школы поэзии. Он восходит к более архаичным книжным традициям. Так, высокое слово *лазоревый* модифицирует словоупотребление *очи*, давая ему новое смысловое наполнение. Это особенно ощутимо на фоне других стихотворений Кюхельбекера.

Я не увижу ни густых лесов,  
Ни волн полей, ни бархата лугов,  
Ни чистого, лазоревого свода...

До смерти мне грозила смерти тьма

Здесь слово *лазоревый* так же, как и в первом случае, оттеняет высокий смысл слова *очи*. Они сопоставлены, сближены друг с другом по поэтическому смыслу. Происходит это за счет возвышенного лексического окружения, которое автор выбрал для подобного сопоставления: *очи* — *дух, узрю; лазоревый* — *чистый*.

Иной принцип реконструкции семантики поэтизма *очи* мы находим в двух ранних стихотворениях Кюхельбекера «К Пушкину»:

Заснул бы от сей жизни тленной  
И очи, в рай перенесенный,  
Для вечной радости отверз...

В данном случае поэтизм не несет высокого смыслового значения. Его можно было бы назвать скрытым, подразумеваемым смыслом, то есть «имплицированным библеизмом». По-видимому, его включение в стихотворение целиком определено соседством таких торжественных слов, как *сей, отверз, главы, зрел, светило*. Любопыт-

но, что в более поздних стихах поэт уже не наделяет себя *очами*. Из довольно широкого синонимического ряда он выбирает самое нейтральное в стилистическом отношении слово *глаза*.

Толпятся образы, — чудесный свет  
В глазах моих — и все напрасно: нет!

Они моих страданий не поймут

Возможно, тут сказалась тенденция к «самоуничжению» поэта перед идеалом, которая была так характерна не только для романтиков, но и для классицистов. У Сумарокова это было возведено в абсолютный принцип. Он полагал, что, говоря об идеальном, «витийств не надобно», ибо «кудряво в горести никто не говорил». Противопоставляя себя возлюбленной, поэт должен несколько вознести предмет своей страсти.

Не будет дня, чтоб я, не зря очей любезных,  
Не источал из глаз своих потоков слезных.

Епистола о стихотворстве

Можно предположить, что Кюхельбекер выражал общую тенденцию к снижению высокого пафоса поэтических слов. Как известно, Пушкин в своей поздней лирике вообще отказался от поэтизма *очи*, заменив его *глазами*.

Интересны также случаи использования Кюхельбекером синонимических вариантов *взор* — *зрак*. По наблюдениям современных исследователей, «синоним *взор* являлся для того времени элементом широкой стилистической окраски» (И. С. Ильинская, Лексика стихотворной речи Пушкина. М., 1970). В стилистическом отношении оно противопоставлялось, с одной стороны, нейтральному *взгляд*, а с другой — высокому *зрак*. Кюхельбекер и в этом случае остается верен себе. Вот как интересно он употребил оба варианта этих синонимов в стихотворении «Памяти Грибоедова»: «Те, коих взор и в самом мраке, Как луч живительных светил, Как дар былого, я хранил, Все, все в твоём слилися зраке». О том, что здесь демонстративная установка на принцип смысловой высоты, а не случайность, вызванная расхожей рифмой, говорит сопоставление с двустипием из стихотворения Жуковского «Славянка», где уместность слова *зрак* стилистически оправдана и отражает совершенно иную систему художественного мышления:

И зрак туманный слит  
С туманным мраком полуночи.

Кюхельбекер удивительно последователен в отстаивании своих политических убеждений и поэтических принципов. Как революционер-романтик, Кюхельбекер исходит из идеального представления о жертвенном героизме, ставя знак равенства между под-

вигом и гибелью: «Блажен, кто пал, как юноша Ахилл, прекрасный, мощный, смелый, величавый».

Те же романтические представления переносит он на поэзию, на подвиг поэта. Он призывал не требовать от поэзии ничего для себя лично и беспощадно обличал корыстолюбцев от литературы: «О, сколь презрителен певец, Ласкатель гнусный самовластья!». Поэзия для Кюхельбекера являлась воплощением в стихотворных строчках силы человеческого духа, истинно прекрасного, великого, доброго, высокого.

Г. И. СЕДЫХ

---

Очень рад, что Войнаровский понравился тебе. В этом же роде я начал Наливайку и составляю план для Хмельницкого. Последнего хочу сделать в 6 песнях: иначе не все выскажешь. Сейчас получено Бестужевым последнее письмо твое. Хорошо делаешь, что хочешь поспешить изданием Цыган: все шумят об ней и все ее ждут с нетерпением. Прощай, Чародей.

Отрывок из письма К. Ф. Рыльева А. С. Пушкину.  
С.-Петербург. 12 февраля 1825

Дельвиг пересказал мне замечания твои о Думах и Войнаровском. Хочется поспорить, особливо о последнем, но удерживаюсь до поры: жду мнения твоего на письме и жду с нетерпением... Петербург тошен для меня; он студит вдохновение: душа рвется в степи; там ей просторнее, там только могу я сделать что-либо достойное века нашего; но, как бы на зло, железные обстоятельства приковывают меня к Петербургу.

Отрывок из письма К. Ф. Рыльева А. С. Пушкину.  
[Петербург] Мая 12 дня 1825

---

# ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ ПУШКИНА

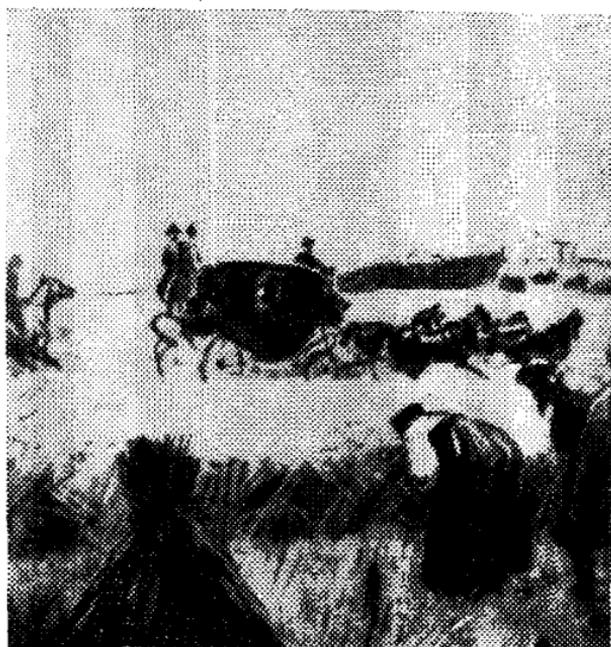
## «Деревня»

Стихотворение «Деревня» написано молодым Пушкиным. Можно было бы сказать, что еще очень молодым, но уже Пушкиным: пора литературного ученичества закончилась.

Если попытаться определить одним словом его, как говорил Белинский, «пафос», то это будет — молодость.

«Приветствую тебя, пустынный уголок...». Сколько искренней открытости, молодого восторга, приятия несет уже первое восклицание! (Цитируется по изданию: А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в 16 томах. М. — Л., 1937 — 1949).

В «Деревне» прослеживается традиция, которая связана с литературой XVIII века в категоричности суждений, в предельности оценок, в четком делении на белое и черное, на доброе и злое. Однако выступает все это уже в ином качестве. Такая категоричность есть не столько выражение рационалистических представлений с их тягой к строгой нормативности, сколько результат молодого страстного чувства, не признающего полутонов, рубящего сплеча, знающего только «да» или «нет», безоглядно приветствующего и столь же безоглядно отрицающего. Разностопный же стих хорошо передает свободное движение эмоций и настроений.



«Деревня».  
Рисунок  
Д. Шмаринова

В то же время эта страсть нигде не переходит в буйство чувств. Стихотворение классично, и самый его вольный ямб уравнивается строгой композицией, так как деление на части является внешним выражением внутренней логики характера.

Лирические стихи для удобства «анализа» иной раз любят разбить на части, руководствуясь подчас очень произвольными мотивами. При этом стихи действительно разбиваются, иногда вдребезги. Но когда стихотворение отчетливо членит сам поэт, явно действует какая-то творческая закономерность. Когда это делает Пушкин, такая закономерность действует с многократно возрастающей силой и непреложностью.

Исследователи обычно говорят, что стихотворение состоит из двух частей: идиллической и реалистической, «карамзинской» и «радищевской». Подчиняясь инерции такого восприятия, иные издатели и редакторы печатают стихотворение, членя его на две части. Между тем у поэта их пять.

Уже в первой части (вступлении) есть два начала: «пустынный уголок», «приют спокойствия» и «порочный двор цирцей» — теза и антитеза, добро и зло. Далее «диалектик» Пушкин обнаружит два начала в одном, покажет

тезу и антитезу в самом «пустынном уголке», в «приюте спокойствия».

Теза — это та идиллия деревенской жизни, которую и представляет вторая часть, хотя, как нам кажется, Карамзин здесь не при чем. Более того, эта-то якобы карамзинская картинка есть в стихотворении самая и даже единственно «реалистическая».

Отмечалось, что «Деревня» не случайно написана вскоре после первого посещения Пушкиным Михайловского. Поэту уже требовался личный опыт. Пейзаж в стихотворении — это окрестность Михайловского, тот «вид», который открывается от барского дома. Это не карамзинская условная идиллия, а тоже идиллия, но пушкинская.

Личное ощущение, собственное приобщение к деревенской природе, вовлеченность в ее жизнь точно передают уже первые стихи второй части:

Я твой — люблю сей темный сад  
С его прохладой и цветами...

Далее, оставляя четырехстопный ямб, поэт вырывается на простор ямба шестистопного, как бы выходит из сада в широкое поле:

Сей луг, уставленный душистыми скирдами,  
Где светлые ручьи в кустарниках шумят.  
Везде передо мной подвижные картины...

Сергей Эйзенштейн писал в свое время об удивительной кинематографичности Пушкина. Если это так, то стихотворение «Деревня» — первое, в котором Пушкин овладевает удивительным искусством «киносъёмки». Картина действительно необычайно «подвижна»: своеобразное панорамирование, в котором есть двойное движение — движение картин и движение в самих этих картинах. Динамика, моторность сообщены вроде бы даже неподвижным предметам: луг, *уставленный*; *рассыпанные* хаты, а парус рыбака не просто *белеет*, а *иногда* движется, перемещается, мелькает.

Нарисован мир идиллический, идеальный, так сказать, физически идеальный: «Везде следы довольства и труда». Но Пушкин создает и вторую идеальность — духовную:

Я здесь, от суетных оков освобожденный,  
Учусь в Истине блаженство находить,  
Свободною душой Закон боготворить...

Так начинается третья, главная часть произведения. Не случайно она и расположена в центре стихотворения. Она центральна и по смыслу. Здесь воссоздан тот идеал

свободного человека, та норма человеческой жизни, с позиций и во имя которой произносятся приговоры. Поэт еще несколько старомодно называет себя «другом человечества». И хотя эта норма характерна и для Пушкина зрелого: некоторые значимые слова и образы в произведениях поэта повторятся:

Роптанью не внимать толпы непросвещенной,  
Участьем отвечать застенчивой Мольбе  
И не завидовать судьбе  
Злодея иль глупца — в величии неправном.

В дальнейшем это отливаётся в более четкую формулу: «Услышишь суд глупца и смех толпы холодной...». Боготворение закона возвращает нас к оде «Вольность». Культ вольности, свободы, гармонии того и другого в «Деревне», возможно, звучит еще сильнее: «Свободною душою Закон боготворить». Это не культ свободы романтического произвола и своеволия, ни с чем не соотношенного и ничему не подчиняющегося.

Такую соотношенность являет собою четвертая часть, образуя с третьей один идейный центр. Отделенные друг от друга, они объединяются и одинаковым количеством строк и рифмой:

И не завидовать судьбе  
Злодея иль глупца — в величии неправном.  
Оракулы веков, здесь вопрошаю вас!  
В уединеньи величавом  
Слышнее ваш отрадный глас.

И лишь набрав такую высоту, поэт, как гром небесный, обрушивает свое негодование в последней части стихотворения:

Но мысль ужасная здесь душу омрачает:  
Среди цветущих нив и гор  
Друг человечества печально замечает  
Везде невежества губительный Позор.  
Не видя слез, не внемля стоны,  
На пагубу людей избранное Судьбой,  
Здесь Барство дикое, без чувства, без закона,  
Присвоило себе насильственной лозой  
И труд, и собственность, и время земледельца.  
Склонясь на чуждый плуг, покорствуя бичам,  
Здесь Рабство тощее влачится по браздам  
Неумолимого Владельца.

«Прислал ли я тебе «Деревню» Пушкина, — писал А. И. Тургенев князю П. А. Вяземскому в августе 1819 года, — есть сильные и прелестные стихи, но и преувеличения насчет псковского хамства». Еще бы. Конечно, преувеличе-

ния. Нет ничего наивнее, чем пытаться рассматривать «Деревню» как некую реальную картину русской крепостной деревни. Сам Пушкин, как бы предупреждая подобные попытки, сразу же дал и определение, и оправдание здесь своего «метода»: «Но мысль ужасная здесь душу омрачает...».

Мысль! Вся эта часть написана в манере очень условной, одической, в манере ораторского витийства.

Указания на те или иные впечатления, которые, вероятно, стояли за стихами Пушкина, приобретают ценность комментария, но ничего не раскрывают в самих этих стихах.

«Дворовые толпы» — единственная примета русской жизни. И, может быть, еще — «барство дикое». Не это ли определение авторизовал в сказке «Дикий барин» Салтыков-Щедрин? В остальном это столько же русское поле, сколько и африканская плантация. Некая отвлеченность, «рабство тощее», — символ, аллегория; некое обобщение — угнетатели и угнетенные, господа и рабы.

Силы стихотворения это ничуть не ослабляет. Напротив. В 1874 году Некрасов, к тому времени, кажется, уже вдоль и поперек исписавший русскую деревню, обратится к стихотворению молодого Пушкина. В знаменитой своей «Элегии» он прямо воспользовался пушкинскими образами. У Пушкина:

...покорствуя бичам,  
Здесь Рабство тощее влачится по браздам  
Неумолимого Владельца.

У Некрасова:

...Увы! пока народы  
Влачатся в нищете, покорствуя бичам,  
Как тощие стада по скошенным лугам...

Элегия

Такая предельная концентрированная обобщенность и давала негодованию силу и эту силу оправдывала. Яхонтов точно понял «пафос» стихотворения, поэтому так форсированно, так напряженно его чтение, такой «жар», такую полноту самозабвенного молодого негодования оно несет.

Наконец, негодование достигает предела, за который уже невозможно идти. Страсть и гнев, кажется, нельзя выразить сильнее. И тогда поэт делает как бы ложный ход, своеобразную «рокировку». Позднее этот «прием» будет использован в поэме «Цыгане». В рассказе об Овидии такая южная для северного русского сознания Молдавия

предстанет чуть ли не как крайний север. То же находим в трагедии «Каменный гость»: «А далеко, на севере — в Париже...».

Когда кажется, что в духе грозного «витийства» сильнее уже ничего сказать нельзя, поэт неожиданно бросает:

Почто в груди моей горит бесплодный жар  
И не дан мне судьбой Витийства грозный дар?

Так само умаление открывает возможность нового и уже бесконечного усиления.

Окончание стихотворения опять-таки очень характерно для молодого Пушкина с его верой в будущее, в «прекрасную зарю» (сравните «Звезда пленительного счастья» в первом послании Чаадаеву), прекрасную именно своей неопределенностью, молодой верой.

## «...Вновь я посетил»

Стихотворение написано в 1835 году Пушкиным — зрелым философом, историком, прозаиком. Стихотворение «Деревня» начиналось как бы с чистого листа, все обращалось только к будущему. «...Вновь я посетил» вырастает из прошлого. Уже первой своей фразой оно обращено назад, а отточие, начинающее ее, пояснение того, сколь много прошло времени, сколь многое предшествовало этим вошедшим в поток времени фактам и словам.

«...Вновь я посетил» — это через шестнадцать лет и наново написанная «Деревня». Если говорить о биографии поэта и о творческой истории стихов, то Пушкин вспоминает свою ссылку в Михайловское в 1825—1826 годах. Тем не менее поэтическим фоном здесь стала более ранняя „молодая“ «Деревня». Знак такой связи дан сразу:

Приветствую тебя, пустынный уголок...  
...Вновь я посетил  
Тот уголок земли...

«Деревню» писал лирик, и подвижное лирическое чувство находило выражение в вольных ямбах. «...Вновь я посетил» пишет эпик, и в «эпическом» пятистопном ямбе, принятом Пушкиным в собственно эпических произведениях, в драме, находит выражение сосредоточенная дума. Вот почему так много переносов, фраз, не закапчивающихся в стихотворных строках, а идущих сплошным потоком, где все со всем сцеплено и слито.

«Деревня» как бы вне времени. Здесь время безраздельно властвует с самого начала:

...где я провел  
Изгнанником два года незаметных.  
Уж десять лет ушло с тех пор — и много  
Переменилось в жизни для меня,  
И сам, покорный общему закону,  
Переменился я — но здесь опять  
Минувшее меня объемлет живо...

Я — уже другой, и я — тот же. Два года... десять лет... Какая точность! Это не даты и факты просто пушкинской биографии, но человеческой.

Пушкин обращается к пейзажу «Деревни» и как бы переписывает его.

Вот холм лесистый, над которым часто  
Я сиживал недвижим — и глядел  
На озеро, вспоминая с грустью  
Иные берега, иные волны...

Уже написанную картину „иных волн“ поэт оставил в черновике: отвлекалась, уходила в сторону главная мысль, связанная именно с этим деревенским пейзажем: он — тот же и уже — другой:

Меж нив золотых и пажитей зеленых  
Ово синее стелется широко,  
Через его неведомые воды  
Плывет рыбак и тянет за собою  
Убогой невод. По брегам отлогим  
Рассеяны деревни — там за ними  
Скривилась мельница, насилиу крылья  
Ворочая при ветре...

В первом стихотворении два плана, две картины, «карамзинская» и «радищевская», были разделены и противопоставлены. Здесь они совместились и слились в одно. Пейзаж стал подлинно реалистическим пейзажем зрелого Пушкина. Дело здесь не в том только, что ушли нарядность и праздничность, скажем, появилось синее озеро вместо лазурного. Картина обрела глубину. Два образа: «рыбарь» в картине «довольства и труда» и «рабство тощее» — сомкнулись. Появилось третье: «плывет рыбак и тянет за собою убогой невод». На месте «мельницы крилатые» оказалось «скривилась мельница, насилиу крылья ворочая при ветре». Деталь точно повторена, но совершенно переосмыслена. Образ скривившейся мельницы тоже засвидетельствовал течение времени. Но существеннее то, что поэт выразил зрелый взгляд на мир, в котором все взаимосвязано и соединено.



смотреть, как иногда досадно мне видеть молодых кавалергардов на балах, на которых уже не пляшу».

Это письмо обычно называют зерном, наброском, даже программой пушкинского стихотворения, его лирической темой. А между тем все наоборот. В письме — раздражение («молодая сосновая семья, на которую досадно смотреть...»), в стихах — приятие и благословление («Здравствуй, племя Младое, незнакомое!»). По этой причине, очевидно, Пушкин не включил в окончательный текст ни разработанный в двух вариантах рассказ о няне, который должен был занять такое большое место в начале стихотворения, ни окончания стихотворения — подробного рассказа о своей судьбе. Подчеркнутая биографичность придавала казусность, и поэт убрал все, что переводило произведение в описание своей жизни и жизни Арины Родионовны. Образ няни оказался связан с другим, глубоким и главным, началом стихотворения: прошлое («Уже старушки нет...») осмыслено как будущее — меня тоже не будет.

В то же время очень важно, что на место некоего граждански осмысленного «друга человечества» пришел частный человек, решающий общую проблему.

Немало писалось о философичности стихотворения. Вряд ли, однако, поэт утешен тем, что он «видит бессмертие в вечной смене материи» (Н. Л. Степанов). Разрешение и гармония у Пушкина никогда не совершаются за счет отказа от своего человеческого я, от своих прав.

И здесь есть приятие мира, мира природы и мира людей, будущих поколений в удивительной слитности. Вот почему знаменитое пушкинское обращение к зеленому поколению сосен: «Здравствуй, племя Младое, незнакомое!» — новые человеческие поколения неизменно воспринимают как прямо к себе обращенные, хотя никакой аллегории в стихотворении нет. Но происходит это приятие общего не в его общем абстрактном виде, а через свое, через личное:

Но пусть мой внук  
Услышит ваш приветный шум, когда,  
С приятельской беседы возвращаясь,  
Веселых и приятных мыслей полон,  
Пройдет он мимо вас во мраке ночи...

Это о внуке. А до этого поэт скажет о себе: «... на границе владений дедовских... я проезжал». Он — внук своего деда. И у него будет внук.

Как и в «Деревне» остался мотив будущего. Но это будущее не отвлеченная «прекрасная заря». Здесь прошлое, настоящее и будущее сближены, взаимопроникнуты. И только если прошлое не прошло для настоящего, появляется залог того, что и настоящее не отменится в будущем:

«...И обо мне вспомянет».

*Н. Н. СКАТОВ*

\*

«Перед нашими глазами с детства как бы стоит надпись, огромными буквами написано: Пушкин. Это имя, этот звук наполняет многие дни нашей жизни».

А. Б л о к. Дневник. Запись 7 февраля 1921

\*

«Великие художники русские — Пушкин, Гоголь, Достоевский, Толстой — погружались во мрак, но они же имели силы пребывать и таиться в этом мраке: ибо они верили в свет. Они знали свет. Каждый из них, как весь народ, выносивший их под сердцем, скрежетал зубами во мраке, отчаянье, часто злобе. Но они знали, что рано или поздно все будет по-новому, потому что жизнь прекрасна».

А. Б л о к. Интеллигенция и революция

\*

«Наша память хранит с малолетства веселое имя: Пушкин. Это имя, этот звук наполняет собою многие дни нашей жизни. Сумрачные имена императоров, полководцев, изобретателей орудий убийства, мучителей и мучеников жизни. И рядом с ними — это легкое имя: Пушкин».

А. Б л о к. О назначении поэта

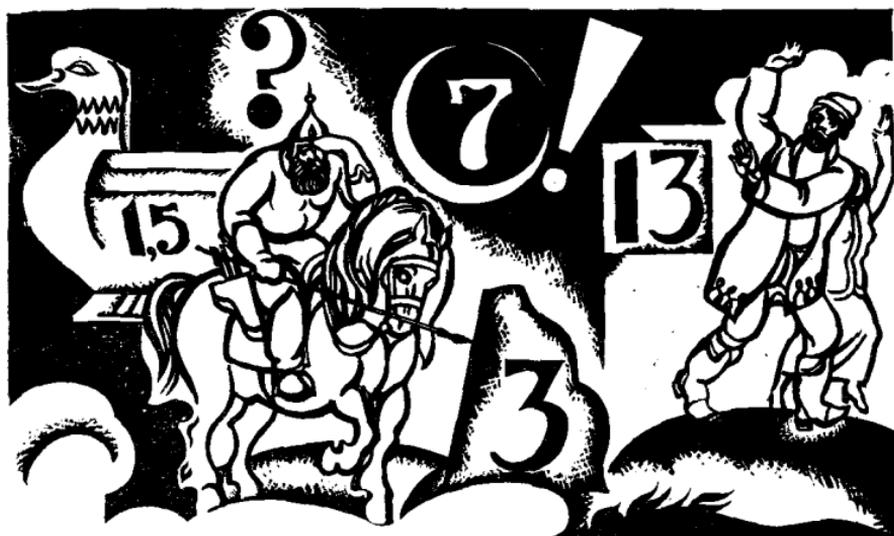


## «...И ЖАР ХОЛОДНЫХ ЧИСЛ...»

Давно уже замечено, что число, возникнув на весьма конкретных основаниях как выражение количественных отношений материального мира, по мере становления абстрагирующего человеческого мышления приобретало все более отвлеченный характер. Ф. Энгельс писал: «Понятия числа и фигуры взяты не откуда-нибудь, а только из действительного мира. Десять пальцев, на которых люди учились считать, то есть производить первую математическую операцию, представляют собой все, что угодно, только не продукт свободного творчества разума. Чтобы считать, надо иметь не только предметы, подлежащие счету, но обладать уже способностью отвлекаться при рассмотрении этих предметов от всех прочих их свойств кроме числа, а эта способность есть результат *долгого, опирающегося на опыт, исторического развития*» (Ф. Энгельс. Анти-Дюринг. М., 1946).

Отвлеченность числа стала одной из основных причин того, что ему стали приписывать свойства, которыми оно первоначально не обладало. Известная в древности философская школа Пифагора, много сделавшая для математики, обожествляла число, искала в нем сокровенный смысл бытия. Понимание числа как символа закрепилось в древнейшем пласте лексики — топонимах. Лев Успенский в своей книге «Загадки топонимики» (М., 1969) замечает, что в топонимах «по отношению к числу в умах людей существовал целый сложный комплекс предвзятых отношений, примет, суеверий».

Устное народное творчество было «неравнодушно» к числу. Достаточно сравнить любой сборник фольклора поэтического жанра с одинаковым по объему сборником стихов поэта, чтобы уви-



деть, как охотно используется в фольклоре числительное. В пределах узкого контекста может встретиться *единичное числительное*: «Да и там бежит-то, бежит да три корабличка»; *счетный ряд*, сформированный порядковыми (реже — количественными) числительными от «первого» до «третьего»: «Во первую дорожку ехать — знать богату быть; Во вторую дорожку ехать — знать женату быть; Во третью дорожку ехать — знать убиту быть»; *ассоциативный ряд*: «А кормить — поить ведь ей до трех годов, А от трех годов да до шести ведь лет, От шести-то лет да до двенадцати...». Часто эти ситуации могут совмещаться. Четкое разграничение трех основных моделей использования числительных, на наш взгляд, необходимо прежде всего потому, что они в произведениях устной народной поэзии выполняют различную художественную функцию.

Обратимся к популярному сборнику «Былины» (Сборник составлен В. И. Чичеровым. М., 1969). Здесь все три типа словоупотреблений числительных налицо. Среди единичных числительных чаще всего используются *два, три, двенадцать, тридцать, сорок, девяносто*. Нет ли здесь жесткой связи числительного со строго определенным существительным, что будет прямо свидетельствовать о наличии символизма у данного числа? Оказывается, что ожидаемой тесной связи в большинстве случаев нет. Пожалуй, исключением может быть числительное *полтора*, которое входит в постоянное сочетание *полтора ведра*: «...Наливай-ко чару зеленá вина. Ты не в малую стопу — да полтора ведра».

С очень узким кругом существительных сочетается числительное *четыре*. Как правило, оно входит в устойчивое сочетание

четыре стороны: «Поклон-то уж вел по-ученому — На все тут на четыре сторонушки».

Идея четырех сторон прослеживается и в других сочетаниях: «Тем попона была дорога, Что во всех четырех углах...».

Числительное *пять* сравнительно редко встречается в поэтических произведениях устного народного творчества, и символика его лежит, как говорится, на поверхности. Посылает Вольга Святославович «пять молодцов да ведь могучиих, как бы сошку из земли да повыдернули». И того, что не смогли сделать пять богатырей, делает одна рука Микулы Селяниновича. Эта символика заметна и в других былинах.

*Семь* в древности было одним из самых символических чисел. «Семь воплощало в себе соединение божественного числа три с материальным числом четыре и представляло собой человека. Поэтому все, что касается человека, семирично по своей природе: семь смертных грехов и семь противопоставленных им таинств, семь возрастов, семь планет, управляющих его жизнью, семь дней недели...» (В. Д. Лихачева, Д. С. Лихачев. Художественное наследие древней Руси и современность. Л., 1971). В фольклоре, видимо, символика эта угасает и отчетливо просматривается сопоставление шелка и радуги, включающей семь основных цветов спектра.

Остальные единичные числительные сочетаются в былинных текстах со значительным кругом существительных. *Три* в сборнике встречается более чем с двумя десятками существительных, которые трудно объединить по какому-нибудь единому признаку. Идея триады настолько глубоко проникла в фольклор, что число *три* можно считать каким-то «сигналом фольклорности». Любая стилизация, которая создается в новейшее время, обязательно использует принцип троичности. Кстати, и счетный ряд, и ассоциативный сами по себе чаще всего организуются по этому признаку.

Числительное *два* обладает тоже широкой сочетаемостью: девушки, соколы, кони, шатры, богатыри, братья и другие. По всей вероятности, оно является своеобразным лирическим сигналом идеи любви, дружбы, братства: «У того было Сокола у корабля... И два горностая повешены, И два горностая, два зимние...».

Русская народная лирическая песня широко использует это числительное. Говоря о жанровой специфике употребления, можно утверждать, что *три* — это своеобразный сигнал былинны, *два* — сигнал лирической песни.

Если судить по данному сборнику былин, то существительные *год*, *корабль*, *молодец* могут сочетаться с разными числительными: *два*, *три*, *сорок* и т. д. Когда же они соединяются с числительным *тридцать*, возникает смысловой оттенок длительного ожида-

ния, плавания, прибытия откуда-то из-за моря синего. В ожидании предназначенной героической судьбы сидит сиднем Илья Муромец: «... Тридцать лет его было веку долгого»; «Стоим мы на острове тридцать лет...».

Однозначного соответствия числового символа той или иной совокупности реалий нет, слишком продолжительна и прихотливо изменчива жизнь каждого конкретного народно-поэтического произведения. Массовое обследование, которое в идеале под силу только современной вычислительной технике, по нашему глубокому убеждению, должно обнаружить определенную избирательность отдельного числа в художественной структуре былины, песни и т. д.

Числительное *сорок* сочетается с достаточно определенным кругом существительных: молодцы, цари, калики, сажени, вёдра. Сравнение всех контекстов, в которых встречается это числительное, позволяет говорить с известной долей уверенности, что перед нами художественный символ, сигнал полноты качества, количества. У Ильи Муромца шелепуга подорожная «да во сорок пуд»; ходит «старчище Данилище» с железною клюкою «да сорока пудов»; сабля у Василия «во сорок пуд». В качестве самого щедрого подарка Чурила для Владимира «брал он сорок сороков черных соболей».

Любимо народным творчеством и числительное *тысяча*, хотя само по себе употребляется редко, гораздо чаще оно встречается в сочетании с числительным *тридцать*, *сорок*, *семь*, *девять*, то есть с наиболее употребительными в фольклоре числительными, причем при обозначении денег, молодцов, «силы» — войска: «Ударили о велик заклад... О денежках тридцати тысячах».

Числительное *тысяча* — своего рода индекс чрезвычайно большого множества.

Счетные ряды весьма употребительны и составляют одну из характернейших примет фольклорного повествования. Эта употребительность обусловлена прежде всего тем, что в счетном ряду осуществляется принцип триады: «Первая дорога в Муром лежит, Другая дорога — в Чернигов-град, Третья — ко городу ко Киеву».

Счетный ряд обладает композиционной функцией и входит составной частью в систему поэтических средств как былины, так и лирической протяжной песни. Нагляднее всего формирующая функция этого композиционного приема обнаруживается в песне, где сюжет, в отличие от сюжета былинного, более аморфен и зачастую подменяется рядом символических намеков. Примером может служить песня «Уж вы горы Воробьевские» с образами трех ласточек, оплакивающих смерть молодца.

Ассоциативные ряды по своим моделям достаточно разнообразны: два числительных, обозначающих смежные на числовой оси числа три — четыре, двенадцать — тринадцать. При этом первое числительное относится к реалиям статическим, второе — динамичным: «И недолго, немало спали трое сутокки, На четверту они да просыпалися, В путь — дороженьку да отправилися»; «Их двенадцать-то богатырей, Илья Муромец — да он тринадцатый».

Характерно употребление ассоциативных рядов для обозначения времени в былинах: «Прошло нунь поры — времечка три го-да..».

В организации ассоциативных рядов заметны два взаимопротивопоставленных направления. Первое заключается в том, что с одним и тем же существительным в одном контексте употребляются разные числительные. Налицо явное противоречие: «Выходило — выбегало два тура, три тура». Из дальнейшего повествования выясняется, что туров было три: «В тридцать пуд шелепуга подорожная, В пятьдесят пуд налита свинцом чебурацкого». Сколько же весит эта «шелепуга подорожная»? Несколькими строками ниже читаем: «И взял шелепугу дорожную, Котора была в пятьдесят пуд». Аналогичное мы встречаем в устойчивой формуле: «А поклоны ведет по-ученому — На все на три, на четыре на стороны».

Второе направление состоит в том, что с разными или одним и тем же существительным в узком контексте употребляется одинаковое числительное. Подобное явление в фольклоре получило название аттракции (согласования слов в предложении по смыслу, а не по грамматической форме): «Вы палейте-ка мне чару зелена вина, Да не малу стопу — да полтора ведра, Да и весу в ней кладите полтора пуда».

Красноречивым свидетельством в пользу того, что числительные в фольклоре выполняют не только и не столько информативную, сколько эстетическую, художественную функцию, может служить тот факт, что в разных жанрах русского фольклора весьма заметны существенные отлпчия и в отборе числительных, и в их предпочтительности употребления. Например, числительное *два* шире всего функционирует в песне, особенно в частушках, что обусловлено лирическим характером этих жанров. Если в былинах *четыре* используется редко, да и то в устойчивых сочетаниях с существительным *сторона* или синонимичным ему, то в песне растет употребительность и сочетаемость с существительными числительного *четыре*, что становится своеобразной приметой жанра.

А. Т. ХРОЛЕНКО

Рисунок В. Толстоногова

# ЖИЗНЬ СЛОВА В ПОЭЗИИ РОБЕРТА РОЖДЕСТВЕНСКОГО

Читая стихи Роберта Рождественского, нельзя ошибиться в определении эпохи, в которую они написаны.

Почти в каждом его стихотворении встречаются номинативные неологизмы наших дней. Это — марки машин и приборов («МАЗы», «Москвич», часы «Москва»), термины современной науки и техники (микрофон, телетайп, ракеты, биотоки), моды и искусства (джинсы, джаз, твист).

Дыхание времени в поэзии Р. Рождественского осязаемо и благодаря многочисленным собственным именам, называющим наших современников, например:

Вы смеетесь  
                  над Чаплиным?  
Поплачьте над ним!  
                  Утешение

А у Назыма был  
                  голос протяжный.  
                  Назым

Научные и технические термины, часто новейшего происхождения, поэт свободно вводит в свою речь, употребляя их в прямом и переносном значении, видоизменяет их, обыгрывает, образует от них производные формы:

Есть радиусы действия  
                  у гнева  
                  и у дерзости.

(Сравните название всего сборника — «Радиус действия»)

Гудят биотоки  
биотоки сердца и мозга —  
высокого напряженья.  
Стихи о биотоках  
Проносится над степью реактивная медь!..  
Кино в Улан-Баторе

Пишут  
письма  
люди,  
наматывая  
на планету  
витки  
ракет!  
Письмо в тридцатый век

Эпитеты Рождественского, в большинстве своем *метафорические*, свежи и интересны: *романтическая плесень, картонные остроты, воспаленный век, ржавые символы, мальчишеское солнце, бледно-розовый оптимизм, невесомый полет* и другие. Эпитет *невесомый* в сочетании со словом *полет* сразу переносит нас в атмосферу сегодняшнего дня, в эпоху освоения космоса, овладения состоянием невесомости:

Был парень  
одетый в скафандр.  
И ракета  
на старте.  
Представите?  
А как он смеялся  
в своем невесомом полете, —  
поймете?

Письмо в тридцатый век

В стихотворении «Назым» тот же эпитет приобретает совершенно иной, трагический смысл в описании похорон Назыма Хикмета:

Говорят,  
что были проводы  
щемящи.  
Невесомые цветы легли  
на плечи.

Из удачно подобранных эпитетов составляются синонимические ряды, где определения дополняют, усиливают друг друга, например:

Невероятный радиус!  
Как от него  
избавиться?  
Непостижимый радиус!  
Нет никакого  
сладу.  
Радиус действия

Часты ряды синонимичных глагольных форм:

Наша участь  
такая —  
пробивать!

прогрызать!

прорубать!

Прорубают Арбат

Очень искусно подбирает Рождественский объекты для своих сравнений. Это можно проиллюстрировать примерами из стихотворения «Я лирические вздохи забыл». Поэт описывает свою поездку в Сибирь, в городок Академии наук. Не будучи посвященным в тайны точных наук, он чувствует себя несколько наивным, когда беседует с молодыми физиками:

Для него я наивен,  
как детсад,  
и поэтому  
немного смешон...

и природа,  
как формула, проста.

Образ возникает естественно, после разговора с математиком.

А вот сравнение другого, возвышенного плана, характеризующее героя, советского юношу, погибшего в боях за освобождение Болгарии:

Как ангел-хранитель,  
солдат Алеша  
над Пловдивом  
вознесен...

Памятник солдату Алеше в Пловдиве

Простоту, человечность, жизнерадостность писателя-гуманиста Назыма Хикмета помогает передать сравнение:

Он придумывал шутки  
и смеялся,  
как ребенок,  
шоколадку нашедший,  
на два города  
тепло  
излучая...

Назым

Стихи Рождественского отличаются образностью, метафоры в них встречаются очень часто:

Синяя от натуги  
по городу  
музыка  
шла.

Третье музыкальное

История!..  
Сожми сухие пальцы.  
Живое сердце  
людям отвори.

История

Возвращая прямое значение глаголу *шел* в будничной, привычной метафоре *шел снег*, Рождественский создает целое стихотворение:

Снег шел, как больной.  
А после  
на три месяца  
слёг...

Снег

На переплетении разных значений слова построено интересное стихотворение «Упражнение по фонетике», в котором каждый фонетический термин употреблен и в его прямом, первичном, нетерминологическом значении. Так, *согласные* — это те, кто не протестует, кто со всем согласен:

На землю кровь течет  
с ножа,

а мы —  
согласные.  
В тупые уши  
клевета  
ползет, —  
заглазная.

А нам-то что?  
А ни черта!

Ведь мы —  
согласные...

*Глухие* — те, кто глух к чужой просьбе:

Помощи и денег  
не просите.  
Мы вас не услышим.  
Мы —  
глухие.

Поэт широко использует фразеологические обороты, видоизменяя их разными способами.

Нередко фразеологическое новаторство проявляется в том, что одному из компонентов возвращается его прямое, конкретное значение, и дальнейшее вытекает уже из этого возрожденного значения, связывается с ним:

Существует тихий омут,  
Как  
всадить в него  
чертей?..

До твоего прихода

Во фразеологическом обороте *убить время* глаголу *убить* возвращено его прямое значение. На этом построено интересное стихотворение, которое заставляет задуматься над ценностью каждого часа, каждой минуты человеческой жизни. Действительно, нелепо звучит часто выражаемое желание убить время. В стихотворении возникает тема убийства:

Убивают  
    время  
            нахально и молитвенно.  
Убивают время  
            стыдливо и истощно.  
Убивают  
    прямо перед окнами  
            милиции!  
.....  
Зазывают в гости.  
Так и предлагают:  
«Приходите...  
            как-нибудь  
                            вечерок уьем...»  
.....  
Убивают  
    собственное время.  
И чужое.  
И никто  
    за это  
не зовет их в суд.

Вслушайтесь

Роберт Рождественский не увлекается словесным изобретательством и прибегает к неологизмам лишь тогда, когда хочет создать сатирический образ. Например, в стихотворении «Письмо в тридцатый век» неологизм *жральня* выполняет сатирически-разоблачающую функцию. Обличительный пафос этого стихотворения направлен против тех, кто представляет себе будущее коммунистическое общество как рай для обжор и бездельников:

Но после стольких тягот  
                            и утрат  
неужто  
Коммунизм —  
    большая жральня,  
    сплошной  
            желудочно-кишечный  
                            тракт?

Кроме этого выразительного слова, из авторских неологизмов запоминается наречие *посердечно*, образованное комбинированным (суффиксально-префиксальным) способом по типу слова *построчно* (поэты, как известно, получают гонорар построчно). Возникает



Необычной является и форма сравнительной степени в таком примере:

...А лестница  
                                  выше.  
А двери —  
                                  похожей.  
До твоего прихода

Поэт широко использует как стилистическое средство категорию числа имен существительных. Форма множественного числа имен существительных далеко не всегда обозначает конкретное раздельное множество, а употребляется и со значением символа. Так, в стихотворении «Кем они были в жизни...» множественное число имен собственных употреблено с обобщающим значением символа женской красоты:

Кем они были в жизни —  
                                  величественные Венеры?  
Надменные Афродиты —  
                                  кем в жизни  
                                  были они?..

В поэме «Письмо в тридцатый век» множественное число от единичных существительных, астрономических терминов (Сириус и Вега) звучит как синоним к попятю «новые, еще не открытые миры»:

Какие Сириусы,  
Какие Веги  
в орбитах  
                                  ваших беспокойных трасс?

В стихотворении «Мы — политики» употребляется вещественное существительное *кефир* во множественном числе. Поэт этим подчеркивает будничность предмета, обычность его. Это слово выступает как нарочитый «бытовизм»:

Мы политики.  
Да!  
Политики.  
Каждой мелочью.  
Всеми фибрами.  
И за будничными  
                                  кефирами.  
И за праздничными  
                                  пол-литрами...

Множественное число от существительного *человек* образуется, как известно, супплетивным способом (образование форм одного и того же слова от разных корней или основ) — люди. Роберт Рождественский, сознательно пренебрегая этой нормой, образует форму *человеки*, которая звучит удивительно тепло, задушевно, об-



СЛОВО ПИСАТЕЛЮ

# ЧТОБЫ ВЕРИЛИ...

(О роли поэтического слова  
в воспитании учителя-словесника)

Сразу же должен оговориться: я пристрастен. Моя мать была педагогом. Много лет преподавала литературу моя дочь. Основное чувство в моем отношении к учителю — нежность.

У меня есть такая песня:

Понимаешь, мама, я учитель,  
Видишь, я вхожу, бледнея, в класс.  
Это мне решили поручить их,  
Сорок душ и восемьдесят глаз.

Учитель...  
Сколько надо любви и огня,  
Чтобы слушали, чтобы верили,  
Чтобы помнили люди меня.

Учитель

Естественно, что воспитание учителя-словесника не самоцель. Это только звено, ступень к главному — к воспитанию его ученика, то есть всех без исключения завтрашних хозяев нашей земли. Следовательно, говорить о сегодняшнем поколении учителей — значит говорить о нескольких поколениях нашего юношества. Вот «чтобы эти сорок душ слушали и верили». А это не просто.

Программа всеобщего десятилетнего образования, развернутая партией и государством, невиданна.

У нас ежегодно садятся за парты миллионы школьников. Следовательно, мы располагаем почти трехсотиятидесятитысячной армией учителей-словесников. Это очень пестрое войско объединяет разных людей, начиная от ярко талантливых до тех, которые случайно избрали поприще, не свойственное им. Есть в этой армии немало подвижников, отдающих ум, сердце и все свое время любимому делу. Есть и такие, которые, даже зная предмет, каж-

дым своим прикосновением гасят интерес к нему, превращают живое в полумертвое, выхолащивают язык, краски при одном их приближении блекнут.

Библиотекарь одной из школ рассказала мне, как мальчик попросил у нее том Чехова. Получил. Не уходит. Помявшись, говорит: «Теперь дайте что-нибудь почитать». «А Чехов?». «Да ну, мы его прорабатываем».

Есть среди словесников и просто случайные малограмотные люди. Одна девятиклассница записывала фразы, произносимые учительницами. Вот некоторые из них:

«Чернышевский сошел в могилу в образе Добролюбова»; «По такой хронологии событий Некрасов пал духом»; «Поэт должен петь народные песни»; «Крестьяне тянули клочок земли и все невзгоды жизни».

Каких же знаний литературы и языка можно требовать от этой учительницы? Но ее малограмотность слишком очевидна даже для школьников. Иногда качество учителя определить труднее.

Писатель Владимир Измайлов рассказывал мне, как несколько лет назад в 24-й школе города Кемерово он вел «Путешествие в поэзию». Учительница попросила его пойти в самый «трудный» класс. На его вопрос, как относятся ребята к поэзии, класс дружно ответил, что они стихов не любят. «Какое же стихотворение вам особенно не нравится?» — поинтересовался писатель. Ребята закричали: «Про лучезарную хрустальную», «про паутину». К его удивлению оказалось, что речь идет об одном из лучших стихотворений Ф. И. Тютчева «Есть в осени первоначальной...»:

Есть в осени первоначальной  
Короткая, но дивная пора...

Как же надо было вдальбливать эти прекрасные стихи! Видимо, учительница забивала их в школьников, как гвозди, зная, что это хорошо, но сама ничего не чувствуя и не ощущая. Когда писатель прочел стихотворение и несколькими словами показал красоту и точность образов, ребята были искренне поражены. Проходя потом по коридору, он слышал, как девочка повторила вслух:

Лишь паутины тонкий волос  
Блестит на праздной борозде.

А, правда, здорово: *на праздной борозде*, — добавила она, впервые почувствовав, что такое эпитет.

К тому же Измайлову уже на учительском слете обратилась с вопросом седая представительная женщина:

— Вот я преподаю 26 лет. Скажите, как эффективнее запретить Есенина? А то дети переписывают «Москву кабацкую».

В ту пору Есенина в школьных программах не было.

Ей не пришло в голову, что можно принести в класс стихи Есенина, объяснить его судьбу, показать красоту его образов. Это и не могло прийти в голову человеку, который преподает поэзию — меточко, сводит стихи до уровня информации, забывает, что ему доверены человеческие души.

Сейчас Есенин вошел, наконец, в школьные программы. Это и неудивительно, потому что, как бы ни было осложнено восприятие его современниками,

Но, очищенный и красивый,  
Верен правде своей одной,  
Пламя чистой любви к России  
Он несет по земле родной.  
Годы светят и непогодят,  
Разлетаясь по сторонам.  
Чем он дальше от нас уходит,  
Тем становится ближе к нам.  
Л. Ошанин. В гостях у Есенина

А каким должен быть учитель? Дети переписывают «Москву кабацкую». Плохой педагог топает ногами и кричит: «Запретить!» Чего он добивается? Дети уходят в подполье. Настоящий педагог (раз уж пришли к его ученикам стихи) показывает на их горечи трагедию человеческой личности и настоящую высокую поэзию.

Приведу знаменитые строки из «Москвы кабацкой»:

...Худощавый и низкорослый,  
Средь мальчишек всегда герой,  
Часто-часто с разбитым носом  
Приходил я к себе домой.  
И навстречу испуганной маме  
Я цедил сквозь кровавый рот:  
— Ничего! Я споткнулся о камень,  
Это к завтраму все заживет.  
И теперь вот, когда простыла  
Этих дней кипячковая вязь,  
Беспокойная, дерзкая сила  
На поэмы мой пролилась.  
...И уже говорю я не маме,  
А в чужой и хохочущий сброд:  
— Ничего! Я споткнулся о камень,  
Это к завтраму все заживет.

«Все живое особой метой...»

Или вот эти стихи о большой и светлой любви, тоже из «Москвы кабацкой» (С. А. Есенин. Собрание сочинений в пяти томах, т. 2, М., 1961):

Заметался пожар голубой,  
Позабылись родимые дали.  
В первый раз я завел про любовь,  
В первый раз отрекаюсь скандалить.

...Мне бы только смотреть на тебя,  
Видеть глаз злато-карий омут,  
И чтоб, прошлое не любя,  
Ты уйти не смогла к другому.

...Я б навеки забыл кабаки  
И стихи бы писать забросил,  
Только б тонко касаться руки  
И волос твоих цветом в осень.

Я б навеки пошел за тобой  
Хоть в свои, хоть в чужие дали...  
В первый раз я запел про любовь,  
В первый раз отрекаюсь скандалить.

А заключением «Москвы кабацкой» является одно из самых классических стихотворений русской поэзии: «Не жалею, не зову, не плачу...».

В самом деле, как его эффективнее «запретить»?

Как раз ключом к завоеванию души школьника может стать разговор о том, что его мучает и тревожит. Именно тогда можно привить ему настоящую, не ханжескую любовь.

Чистота — это не незнание. Чистота — это высокое нравственное понимание назначения человека, несмотря на все теневые стороны жизни.

«Москва кабацкая» и явилась такой смутной и пессимистической, потому что Есенин не сумел масштабно постигнуть происходящее, и ему казалось: гибнет родина. Но именно его способность любить женщину, родину помогла ему оставить такой страстный след в поэзии, во времени. Его стихи отражают сложность эпохи.

Я умышленно не ушел здесь от разговора об одном из самых одиозных произведений Есенина. Но Есенин гораздо шире и значительнее.

Учитель обязан донести до сознания ученика и образ художника, и сложную палитру его мастерской.

«Страна березового ситца»; «Все пройдет, как с белых яблонь дым»; «Вот оно, глупое счастье с белыми окнами в сад». Как удивительно просты и ёмки эти образы!

Совершенно по-иному работал Маяковский!

А ночь по комнате тинится и тинится, —  
из тины не вытянуться отяжелевшему глазу.

Двери вдруг залязгали,  
будто у гостиницы  
не попадает зуб на зуб.

Облако в штанах

Вся поэтическая жизнь Маяковского, как и Есенина, состоит из острых углов. У него было множество противников, но со вре-

менем круг его почитателей увеличивался. Наконец он стал просто обязателен:

Мы наскоро его прочли  
Тому, кто сам в него не глянет.  
И на его поэмы глянец  
Хрестоматийный навели.

Л. Ошанин. О Маяковском

Однако в программах вузов, школ, на радио, на эстраде Маяковский был представлен двумя поэмами и несколькими стихотворениями одного плана. И совершенно забыли об его многообразии. Глубокие раздумчивые лирические стихи, как правило, не входили в его сборники. И вот недавно в связи с восьмидесятилетием был проведен конкурс школьников-чтецов Маяковского. Уже по условиям конкурса надо было представить все стороны творчества поэта. И этот конкурс заново всколыхнул интерес к Маяковскому. Я хорошо его помню, потому что был одним из членов жюри. Сейчас в новой школьной программе мне приятно было прочитать в рекомендательном списке для чтения название прекрасной юношеской поэмы Маяковского «Облако в штанах».

А как навечно овладел нашими душами Пушкин. Вспомните «тяжелозвонкое скаканье по потрясенной мостовой» медного всадника. Как неожиданны его эпитеты, и как много весит его слово. Вот в «Цыганах»: «Настанет ночь. Они все трое варят...— пшено...». Какое пшено? Могло быть множество вариантов. У Пушкина единственен, глубоко социален, именно к жизни цыган относящийся эпитет: «варят *нежатое* пшено».

Заставить школьника увлечься классической поэзией — не простая задача. Если словесник умеет донести до ученика особенности и красоту языка писателя, то он сможет ввести своего воспитанника в круг больших проблем, волнующих художника, нередко острых и сегодня.

Тогда и восьмикласснику будет понятно, что Онегин — не просто барин, живший полтора столетия назад, но человек, избравший философией своей жизни эгоизм и равнодушие. Он брал от жизни, ничего не давая людям взамен. Впервые он очнулся, когда из-за равнодушия, боязни сплетен и просто скуки ради убил Ленского. Пришел к полному одиночеству и крушению жизни. Но это был человек думающий и аналитически относящийся к тому, что происходит. Только к концу романа он вырос до способности любить.

Дело учителя, знающего свой класс и его интересы, найти угол зрения, который поможет ученику ощутить произведение близким и важным для себя.

Так или иначе, чтобы помочь ученику найти себя и свое место в жизни, учитель-словесник должен быть личностью. А личность

всегда своеобразна. Со своими пристрастиями, своей любовью. Один учитель блестяще чувствует Пушкина, другой Лермонтова или Некрасова. Справедливо ли не воспользоваться этим! Пусть ученик одержимо и влюбленно унесет из школы Пушкина с его мечтой о свободе. Придет день, и он сам откроет для себя остальных.

Вспоминаю своего учителя в пятом — седьмом классах Ивана Ивановича Веткина. Он честно и прямо говорил, что не понимает и не любит современной поэзии — Маяковского, Есенина, даже Блока. Но он был буквально упоен Пушкиным, Лермонтовым, Некрасовым. И он сумел заставить нас полюбить и понять этих великих. А современников уже потом открывали мы сами.

Думаю, что тему совершенствования учителей надо разделить на две: сегодняшней действующий учитель и тот, который придет завтра. Собственно, эта вторая тема и является главной в нашем разговоре. Для того, чтобы поднять уровень студента-словесника, надо прежде всего говорить о приеме в университеты и пединституты. Ни для кого не секрет, что в педвузы часто идут люди не по велению сердца, а просто потому, что не попали в другие учебные заведения. Надо поставить барьер, преградить доступ в институт случайным, не имеющим педагогического дарования лицам. Прежде всего вступительное сочинение должно писаться не формально, не на общую тему, скажем, «Грозы» А. Н. Островского, а на широкую тему, может быть, для каждого свою — о любимом писателе. Надо, чтобы сочинение не было коротким, и абитуриент должен знать, что случайные описки не будут иметь решающего значения для оценки. Короче говоря — проверять дарование, а не бездумное отсутствие ошибок. Этому же должно служить творческое собеседование. Угловатый парень с истинной любовью к литературе и тройками по математике гораздо нужнее на студенческой скамье, чем благополучная кругленькая пятёрочница с бездумной челкой на лбу.

Этот принцип — творческий, а не лачетнический — должен стать основой преподавания в институте. Именно на студенческой скамье надо вложить в душу будущего словесника ту влюбленность в язык и в литературу, ту одержимость, то умение сопереживать художнику, которые он потом понесет в школу. Нельзя допускать, чтобы педагог-словесник работал мимо сердца ученика.

Что касается сегодняшних словесников, то широкая система методических совещаний, переподготовки, всевозможных курсов должна помочь углублению, а иногда, если надо, и пересмотру методов работы словесника в школе.

Над программами у нас работают знающие люди. И сами программы заслуживают уважения. Но вот передо мной программа

по русскому языку на 1974/1975 учебный год. На первой странице говорится, что одна из задач учителя — «пробудить бережное отношение к слову, к богатствам языка и стремление настойчиво овладевать этими богатствами; вооружить навыками выразительного чтения». Запланированы в четвертых-пятых классах и некоторые сочинения, и заметки в стенгазету. К сожалению, в школе часто сочинение подменяется изложением, то есть пересказом прочитанного. И пятерки порой ставятся не за умение думать, а за способность механически разделить точку зрения учителя.

А вот примерная программа для десятого класса, где стоит такой важный пункт — «Работа по совершенствованию стиля и развитию письменной речи ученика (сочинения различных типов и их анализ)». А отпущено на него десять часов. Ясно, что можно написать за эти часы всего два-три сочинения, а уж развить индивидуальные способности ученика к серьезному анализу, добиться, чтобы в нем забились собственная мысль, — вряд ли возможно. Да и всеми ли педагогами ставится такая задача? Кстати, во всех программах нет ни одного слова о поэзии. Нет разговора о поэзии и на 380 страницах солидного и серьезного труда А. И. Власенкова «Общие вопросы методики русского языка в средней школе». А жаль — поэзия добрая и верная подруга и помощница всякого, изучающего язык.

Можно много говорить о программах по литературе. Надо ли изучать своеобразным галопом бесчисленное количество имен писателей? Не лучше ли сосредоточиться на немногих, наиболее характерных и ярких именах и отдать им побольше часов? Всегда ли надо придерживаться принципа хронологии, под силу ли в восьмом классе глубокое изучение творчества А. С. Пушкина? И не стоит ли Толстого, Достоевского, Пушкина перенести в 10-й класс?

А как сделать, чтобы поэтическое слово заняло заслуженное место в школе? Пусть звучит оно на уроках, лекциях, семинарах, иногда даже без всяких комментариев. Пусть звучит звонко и чисто, неиспорченное прикосновением педантизма и ханжества. Анализ стиха должен быть поэтичным и вдохновенным. Но ни одна школьная и вузовская программа не может вместить тот поэтический мир, в котором должен расти молодой человек нашего времени. Нужны кружки и факультативы, разнообразные вечера.

В одной из школ был проведен вечер стихов шестнадцатилетнего Лермонтова. И был поставлен вопрос: «Так думал в 16 лет Лермонтов. А как думаешь ты?». Параллельно читались его взрослые письма, которые показывали, какую роль во взрослой жизни играют вопросы, поднятые в 16 лет.

В харьковской школе работает Кружок любителей книги

(КЛК) им. Лермонтова. Ребята переписываются с литераторами разных городов. Такие кружки, литературные музеи созданы во многих школах. А систематическое проведение дней поэзии, встречи с писателями, вечера, организованные своими силами, — количество форм работы бесчисленно.

И всем этим должен руководить учитель-словесник! Но ведь преподаватель литературы, в отличие от преподавателей других дисциплин, сверх всякой меры загружен еще и проверкой сочинений (пять классов по 40 человек — норма!). И это очень важный момент в работе словесника, так как только сочинение может научить школьника думать и свободно владеть языком. Я слышал, что в США сочинения проверяют лаборанты. Думаю, что нам это не подходит. Учитель сам должен видеть мысль, рост, путь ученика. Однако при такой загруженности у словесника может выработаться защитная реакция: он не будет настаивать на лишнем сочинении.

Многие считают, что у педагога-литератора есть еще один серьезный противник — телевизор, который несет школьнику множество информации, весьма ему близкой, — хоккей, мир животных, приключения, «мультики». Здесь не нужно напряжения мысли. А изучение красоты языка, фамусовское общество, день Онегина или нравственная концепция Достоевского требуют от ученика большой работы.

Все больше слышно голосов, что техническое обогащение человечества легко может обернуться его интеллектуальным обеднением. Значит ли это, что как в иное время и по иному поводу ткачи уничтожали станки, нам, интеллектуалам, следует уничтожать телевизоры? Думаю, что от нас требуется иное решение. Надо использовать технику и подчинить ее нам. По телевизору должны звучать прекрасные стихи, проводиться яркие творческие показательные уроки. Сказал слово «показательные» и сам испугался. Пусть они не будут заорганизованными, стандартными. Пусть они будут индивидуальными, неповторимыми. Мне рассказывали, что когда Агния Барто приходит в школу, она просит: «Покажите мне что-нибудь нетипичное». Правильно просит. Мы часто за типическое принимаем серое. А в литературе «типическое» вырастает из поступков, которые являются «из ряда вон выходящими». Так «стандарт» бесконечно важен и прогрессивен в технике, но абсолютно противопоказан литературе. А следовательно, и преподаванию литературы и языка.

По этому поводу с юмором и грустью вспомнил я историю двадцатипятилетней давности. Сын принес очередную двойку по русскому языку. За что? Вот за что — в учебнике были указаны

существительные: «летчик, снайпер, моряк», кажется, «разведчик» и еще кто-то. Отдельно были напечатаны прилагательные — эпитеты. Задача — расставить их по местам. Как выяснилось, все было predetermined. Летчик должен был быть *смелый*, снайпер *зоркий*, разведчик *неугожимый* или *упрямый*, а моряк, если не ошибаюсь, *храбрый*. А сын написал, что моряк *красивый*. «С чего ты взял», — допытывалась учительница. «Ну как же, — ответил сын, — к папе приходил такой красивый моряк». Думаю, что он к тому же слышал песню: «Ты моряк, красивый сам собою». Эта двойка за неположено красивого моряка своего рода символ. При этом летчику было отказано в зоркости, а снайперу в смелости.

Ну да это прошлое. Вернемся к телевидению и радио.

Если телевизор в какой-то мере враг словесника, то радио скорее всего можно назвать его другом. По радио звучит много передач, посвященных языку, нередко вызывающих большой интерес у самых широких слушателей. Достаточно назвать целую серию выступлений ленинградского писателя Льва Васильевича Успенского (эти выступления, кстати, не мешало бы время от времени повторять).

17 января 1975 года я случайно услышал умную и важную передачу, из тех, где в живой форме ведут разговор мальчик и девочка. Передача была посвящена «относительному» и «качественному» прилагательному. Убедительно и просто школьнику объяснялось, что «красный» — это качественное прилагательное, потому что можно сказать, что тот или иной предмет «краснее», а «оловянный» — относительное, потому что солдатик не может быть «оловяннее», чем другой такой же солдатик.

Хочу, однако, использовать этот пример, чтобы показать особенности законов поэтики. Изучая богатства языка, учитель имеет возможность рисовать разницу между обычной и художественной метафорической речью. Можно, в частности, сказать, что язык того или другого сочинения не живой, а оловянный, а язык другого сочинения еще оловяннее.

И да не будет язык учителя словесности оловянным или еще оловяннее оловянного.

Он, учитель, должен вручить своему воспитаннику тайну постижения прекрасного, дать ему в руки власть над словом. Сделать так, чтобы его, учителя, слушали, чтобы ему верили.

Одно время спорили, что такое литература — исповедь или проповедь? Я попытался ответить на этот вопрос таким четверостишием:

Литература — это исповедь  
Под видом исповеди — проповедь,  
Для тех, кто ненавистен, — отповедь,  
Для всех, кого ты любишь, — заповедь.

ЛЕВ ОШАНИН

# БЕСЕДЫ О РУССКОМ ПРОИЗНОШЕНИИ

Продолжение. См.: 1974, № 4—6, 1975,  
№ 1—3

Согласный [г] в русском литературном языке произносится как звук смычный, взрывной. Он образуется путем смыкания задней части спинки языка с задней частью нёба и последующего мгновенного размыкания, «взрыва»: [г]од, [г]ород, [г]усь, но[г]а, [г]ром, [г]лина, мо[г]ла. Так же произносится а и в северных русских говорах.

Южным русским говорам, напротив, свойственно щелевое, фриктивное (от латинского *fricare* — тереться) образование этого звука. Такой длительный звук обозначим знаком [γ], его, в отличие от [г], можно тянуть. Задняя часть спинки языка при таком произношении не смыкается, а лишь приближается к задней части нёба, образуя щель, и звук получается благодаря трению струи выдыхаемого воздуха о края щели: [γ]од, но[γ]а́, [γ]усь, [γ]ром.

В украинском и части белорусских говоров на месте [г], произносится звук, который мы обозначим знаком [h]. Этот звук, близкий к [γ], также является длительным, но имеет несколько другое образование, а именно фарингальное (от греческого *pharynx* — *pharyngos* — 'зев'), которое часто неточно называют гортанным: [h]ород, но[h]а, [h]усь, [h]ром. При образовании этого звука к артикуляции языка прибавляется сужение прохода воздуха в полости глотки.

Мгновенный, взрывной [г] в литературном языке произносится и в таких словах, как ко[г]да, то[г]да, все[г]да, ино[г]да. Эти слова следует особо отметить, потому что старому московскому произношению было свойственно произношение ко[γ]да, то[γ]да и т. д.

Длительное [γ] в старом московском произношении было свойственно также некоторым словам церковного происхождения: бла[γ]одать, бла[γ]одарю, бла[γ]о, бо[γ]атый, бо[γ]а и некоторым другим. Теперь и в этих словах произносится [г]. В одном только

слове, ставшем теперь междометием, и сейчас может произноситься [γ] — [γ]осподи. Однако и в этом случае сейчас возможно [г] — [г]осподи.

Звук [г], как известно, звонкий в отличие от [γ]. Звонкие согласные в русском языке в определенных позициях «теряют голос», оглушаются. Поэтому на месте мгновенного [г] на конце слова произносится мгновенное [к]: но[г]á — но[к], снэ(г)а — сне[к], пиро[г]á — пирó[к], помо[г]ý — помó[к] и т. д. Представители южных русских областей, усваивая литературный язык, приучаются и к произношению [г] взрывного вместо своего родного [γ] в тех положениях, где [г] не оглушается: [г]од, но[г]а, [г]ром и т. д. Однако на конце слова, в положении оглушения, они оглушают не [г], а свой родной звук [γ], поэтому они произносят нередко: но[г]а, но но[х], дру́[г]а, но дру[х], снэ[г]а, но сне[х]. Только в одном случае на конце слова вместо мгновенного звонкого [г] произносится длительный глухой [х], так бо[г]а, но бо[х]. Сравните: *не дай бо[х]*, но *болит бо[к]*, потому что в прошлом слово *бог* произносилось в косвенных падежах с [γ] — *бо[γ]а*, *бо[γ]у*. Во всех остальных случаях на месте [г] на конце слова звучит [к]. (*Он мне помо[к]* и *он весь промо[к]*).

Элементы церковного произношения в прошлом, даже в XIX веке, были, естественно, много сильнее. Так, например, высокому стилю, особенно в поэзии, было свойственно произношение [γ], а не [к], на конце слова вместо [γ] по общему правилу произносили [х]. Это широко отражено в поэзии XIX века, где рифмуются конечные *г* и *х*. Например, у Ф. И. Тютчева мы читаем

Иль в сих цветущих и поднесь садах  
Их легких ног скользил незримый шаг.

Арфа скальда

Или:

Знакомый голос, голос чудный —  
То лирный звук, то женский вздох...  
Но я, ленивец беспробудный,  
Я вдруг откликнуться не мог...

Графине Р.

Тютчев рифмует *вдруг — слух*, *мог — вздох*, *настиг — самих*,  
*друг — двух*, *за луг — дух*.

Или и у А. А. Фета:

Каждый час и каждый миг  
Приближается жених.

Глубь небес опять ясна...

Или:

Но в двадцать лет — Как несказанно дорог  
Красноречивый, легкий этот шорох!

Студент

Хотя оба эти поэта происходят из южных областей, но можно считать, что произношение [x] на месте *г* на конце слова и, вероятно, произношение [γ] в положении, где оглушения нет,— это признак высокого, поэтического стиля.

Другое дело у С. Есенина:

Затуманились лоцины  
Серебром покрылся мох.  
Через прясла и овины  
Кажет месяц белый рог.

На лазоревые тлани...

Или:

Парень бравый, синеглазый  
Загляделся не на смех.  
Веселы твои проказы,  
Зарукавник — словно снег.

Плясунья

Есенин рифмует *доспех — снег, враг — облаках, дух — друг, дух — круг, других — миг, порог — вздох, миг — слепых, страх — очаг, очаг — плечах.*

Итак, церковное и южнорусское произношение [x] на месте *г* на конце слова совпали. Но если у Тютчева и Фета [x] на месте *г* является принадлежностью высокого стиля, то у Есенина то же явление представляет собой элемент его родного рязанского говора.

М. Исаковский пользуется не всегда точною рифмой. Если он рифмует *г* и *к* (*огонек — прилег*), то можно предполагать и литературное произношение [к]. Однако он рифмует и *к* с *х* (типа *стих — блик*), сближая [к] и [x] по нормам своего родного смоленского говора. У М. Исаковского очень часто рифмуется *г* с *х*. Приведем несколько примеров:

Все коровы через луг —  
В лес поодиночке.  
Утомился дед-пастух  
И заснул на кочке.

Подпаски

Или:

Дрова таскаю. Печь топлю в квартире.  
Курю какой-то невозможный мох,  
Варю и ем картошку в вицмундире,  
Как выразился здешний педагог.

Зима в Чистополе

М. Исаковский рифмует *друг — пастух, отдых — подвиг, миг — своих, на миг — из них*. Многочисленность таких примеров скорее всего свидетельствует о наличии у него «смоленского» произношения звука [x] на месте *г* в конце слов.

Итак, в качестве нормы рекомендуется мгновенное произношение звука [г], в положении оглушения — [к]: но[г]а — но[к]. Что касается чтения стихов, то надо учитывать их характер, стиль, ритм, звучание, а применительно к теме этой беседы — характер рифм у данного поэта.

*Продолжение в следующем номере*

## ЭСТЕТИКА ЯЗЫКА

---

Что такое эстетика языка? На этот, казалось бы такой простой, вопрос мало кто отважится дать вразумительный ответ. Все мы нередко слышим — «он (она) красиво говорит» или «некрасиво говорит», «какой красивый язык у Тургенева» или «как красиво (некрасиво) звучит такое предложение» и т. д. и т. п. Между тем, что означают подобные «красиво», «красивый» (соответственно «некрасиво», «некрасивый»), объяснить не всегда просто. Хотя, как я постараюсь показать, интерес к эстетике языка всегда был велик у многих русских писателей, общественных деятелей, ученых, наша филология пока не располагает ни книгами, ни даже специальными статьями, посвященными эстетике общелитературного языка. В чем же здесь дело? (Немногочисленные зарубежные работы последних лет на эту тему обычно состоят из разрозненных заметок, посвященных анализу отдельных слов, выражений, стилистических «приемов». Так же в свое время была построена книга французского писателя Гурмона «*Esthétique de la langue française*», Paris, 2 éd., 1899. Из более новых исследований см. журнал «*Revue d'Esthétique*», Paris, 1965, № 3—4 посвящен «эстетике языка»). Более широкая постановка вопроса об эстетике языка в том виде, в каком она преломляется в языке художественной литературы, дана в многочисленных разысканиях В. В. Виноградова, в книге Б. А. Ларина («Эстетика слова и язык писателя». Л., 1974), в статье М. М. Бахтина («К эстетике слова» в сб. «Контекст. 1973. Литературно-теоретические исследования», М., 1974) и в некоторых других этюдах.

### 1

---

Любой естественный язык человечества — это прежде всего коммуникативная система, с помощью которой люди общаются друг с другом. Трудно переоценить именно эту функцию любого

языка. Трудно представить себе ту или иную общность людей, не связанную коммуникативными ресурсами языка. Все это бесспорно. Вместе с тем бесспорно и другое: любой естественный язык человечества в отличие от любой искусственной «коммуникативной системы знаков» выступает не только как средство общения между людьми, но и в других своих разнообразных функциях. Хорошо известно, что с помощью языка люди передают чувства и переживания, восхищение и удивление, радость и горе, не всегда преследующие чисто коммуникативные цели. Во многих случаях то или иное состояние человека помогает ему же в процессе «самовыражения», в процессе передачи своего отношения к окружающему миру, к природе, к обществу, к обстановке.

Иногда говорят, что все перечисленные средства тоже преследуют коммуникативные цели. Но, во-первых, нет никаких оснований безмерно расширять понятие коммуникации и, во-вторых, если уже и усматривать в подобных случаях коммуникацию, то следует тут же признать, что это особые виды коммуникации. Коммуникация коммуникации рознь. Факты свидетельствуют о полифункциональности языка. Нисколько не отрицая ведущего значения его коммуникативной функции, следует всячески подчеркнуть полифункциональность самого языка. Только в этом свете можно понять зависимость языка от уровня развития культуры того или иного общества и народа, процесс исторического совершенствования языка.

Проблема эстетики языка осложняется и по другой причине. В шестидесятых годах известный французский лингвист А. Мартине опубликовал статью под названием «Можно ли говорить о том или ином языке, как о языке красивом?», в которой дал отрицательный ответ на поставленный в такой форме вопрос. Сам по себе язык не может быть ни красивым, ни некрасивым (А. Martinet, «Peut-on dire d'une langue qu'elle est belle?», *Revue d'Esthétique*, Paris, 1965, № 3—4). Мартине убежден, что он тем самым снял проблему эстетики языка. Между тем вопрос был неправомерно поставлен французским ученым. Разумеется, сам по себе язык не может быть ни красивым, ни некрасивым. Но, во-первых, он может быть более развитым и менее развитым, более богатым и менее богатым, опираться на старую письменную традицию и совсем не иметь подобной традиции. Во-вторых — и это особенно важно в нашем случае — язык может быть использован в его эстетической функции: не будучи сам по себе ни красивым, ни некрасивым, всякий естественный язык в состоянии приобрести эстетическую функцию при соблюдении определенных условий.

Здесь необходима историческая справка.

Открытие и обоснование сравнительно-исторического метода в двадцатых годах прошлого столетия привело к тому, что все дальнейшие усилия ученых были направлены на разработку конкретных условий развития языков мира, на их родственные и типологические связи и отношения. Интерес к этим условиям увеличился к семидесятым годам XIX века, к эпохе обоснования младограмматической концепции с ее пристальным вниманием к фонетике и морфологии разных языков. В начале XX столетия, в особенности после публикации «Курса» Соссюра в 1916 году, обострилось внимание к синхронным проблемам науки о языке, стало ясным стремление осмыслить язык прежде всего как систему противопоставленных и взаимно связанных отношений. И уже со второй половины нашего века язык начали истолковывать как предельно абстрактную систему фонологических и морфологических отношений прежде всего. В подобных концепциях полифункциональность языка как бы отодвинулась на задний план, язык стал анализироваться преимущественно в монофункциональном плане, как абстрактная коммуникативная система.

Односторонность такого подхода к языку уже давно замечали отдельные выдающиеся ученые.

В конце прошлого века об эстетической функции языка писал, в частности, А. А. Потебня, особенно в своих последних исследованиях (см., например, его книгу «Из записок по теории словесности», Харьков, 1905, стр. 2 и сл.). И все же в 1925 году, рецензируя третье издание книги М. Граммона «Французский стих. Его выразительные возможности и его гармония», А. Мейе подчеркивал, что «Граммон является единственным лингвистом, который уверенно и глубоко изучает эстетику языка» (Рецензия А. Мейе опубликована в «Bulletin de la Société linguistique de Paris», Paris, 1925, № 2). Следовательно, еще в двадцатых годах нашего столетия одному из крупнейших лингвистов того времени казалось, что эстетику языка умеет исследовать лишь один филолог в мире. Если даже учесть, что Мейе «сгустил здесь краски» (Граммон все же был не единственным в этой области), очевидно, однако: эстетикой языка еще в недавнем прошлом лингвисты не занимались и не умели заниматься.

Любопытно, что на два года раньше, чем А. Мейе, об этом же писал один из самых выдающихся русских лингвистов Д. В. Щерба. В 1923 году в предисловии к первому выпуску сборника статей «Русская речь» Щерба подчеркивал, что до сих пор эстетикой языка интересовались лишь поэты и прозаики, отчасти — отдельные литературоведы, тогда как лингвисты почти не обращали внимания на эстетические возможности и ресурсы языка, «вообще на все то, что делает наш язык выразителем и власти-

телем наших дум». По мысли Щербы, разработка эстетики языка может стать «тем мостиком между языковедением и образованным русским обществом, который был сломан во второй половине XIX века» (см. предисловие Л. В. Щербы к сб. «Русская речь», Петроград, вып. 1, 1923).

Хотя наша отечественная филология, как я уже отметил, и не располагает статьями и книгами об эстетике языка, интерес к «выразительным возможностям языка» в самом широком смысле был характерен для таких наших ученых, как А. А. Потебня, Л. В. Щерба, В. В. Виноградов, В. М. Жирмунский, Б. А. Ларин, Г. О. Винокур и некоторых других. В зарубежной науке были, однако, попытки специально заняться эстетикой языка. К наиболее известным опытам подобного рода надо отнести отдельные исследования итальянца Б. Кроче (1866—1952), немца К. Фосслера (1872—1949) и швейцарца Ш. Балли (1865—1947). Одна из известных книг Кроче, вышедшая в самом начале нашего столетия так и называлась «Эстетика как наука о выражении и как общая лингвистика» (1902 г., русский перевод 1920 г.). Исходя из своей концепции, согласно которой любой язык — это прежде всего результат индивидуального творчества людей, в особенности — выдающихся людей, Кроче отождествлял лингвистику с эстетикой, не обнаруживал различий между ними. У Кроче получалось так, будто бы основное назначение языка сводится не к общению людей, а к самовыражению, в системе которого эстетический фактор выступает как центральный, определяющий, наиболее характерный. Аналогичную доктрину защищал и К. Фосслер, сторонник и последователь Б. Кроче. И хотя у обоих этих исследователей имеется немало отдельных интересных разысканий, посвященных языку выдающихся писателей разных стран, их общая эстетическая концепция языка оказалась неубедительной: эстетика не только «затмила» лингвистику, но и исказила соотношение разных функций в системе самого языка.

Принципиально иную позицию в этих вопросах занял Ш. Балли. Эта позиция оказалась, однако, противоречивой. В своей «Французской стилистике» он, с одной стороны, призывал изучать широкие «выразительные возможности языка», а с другой — подчеркивал принципиально антиэстетическую доктрину: «как только начинают сознательно использовать речь с эстетическими целями, она перестает быть предметом стилистики и становится объектом науки о литературе и о нормах хорошего слога» (Ш. Балли. Французская стилистика, русский перевод. М., 1961). Уязвимость подобной позиции я вижу в том, что «нормы хорошего слога» неразрывно связаны с нормами литературного языка вообще. Проблема же литературного языка — это прежде всего проблема линг-

вистическая. Только для тех ученых, которые без всяких серьезных оснований видят в литературном языке нечто искусственное, как бы «сделанное», и которые склонны отождествлять литературные языки со «стандартно построенными» искусственными языками, только для них сама проблема литературных языков оказывается где-то за пределами лингвистики.

Вопрос этот и старый и новый одновременно. Уже в семидесятых годах прошлого столетия младограмматикам казалось, что все в языке, что «сделано» человеком, к лингвистике не относится. В. Вундт, во многом споря с младограмматиками, поддерживал их в этом вопросе. Он стремился изучать в языке лишь все «непроизвольное», поэтому литературные языки и их сознательно выработанная в определенную эпоху норма (при всей ее исторической подвижности), казались немецкому ученому далекими от лингвистики. Острый спор по этому вопросу (не законченный и в наше время) проходил в начале двадцатого века (Д. Кудрявский. Психология и языкознание. По поводу новейших работ Вундта и Дельбрюка, «Известия отд. русск. языка и словесности императорской Академии наук», 1904, том IX, кн. 2; Ф. Зелинский. В. Вундт и психология языка, «Вопросы философии и психологии», С.-Петербург, 1902, кн. 61).

Принципиально иное понимание соотношения стихийного и сознательного в языке обосновала, как известно, марксистская философия. Язык объективно складывается вместе со сложением и развитием самого народа, на нем говорящего. С определенной исторической эпохи — различной в различных странах и у различных народов — те или иные сферы языка начинают все более и более контролироваться выдающимися представителями данного народа, прежде всего в области литературного языка, причем не только на ниве художественной литературы, но и в литературе научной, в нашей повседневной речи, функционирующей с соблюдением литературных норм языка данной исторической эпохи. При таком понимании соотношения стихийного и сознательного проблема эстетики языка вместе с проблемой его литературной нормы должны серьезно интересовать лингвистов и филологов.

## 2

---

• При изучении эстетики языка возникает трудный вопрос: что следует относить к эстетике языка и что — к эстетике речи? Когда анализируется язык большого писателя, особенности его эстетического отношения к языку обычно детерминируются его же собственной индивидуальной поэтикой. Подобные особенности выступают как особенности речи данного лица и могут быть далеки

от эстетических особенностей языка вообще. В таких случаях говорят об эстетике речи, а не об эстетике языка. И хотя в разных странах мира опубликовано немало книг под названием «Язык Пушкина» или «Язык Шекспира», «Язык Мольера» или «Язык Гете», в них обычно анализируются различные концепции речи, а не концепции языка. Соответственно и главы, посвященные эстетике языка писателей, выступают в своих речевых, а не общезыковых функциях и характеристиках.

Эстетику языка и эстетику речи различать действительно необходимо. Первая относится к самим ресурсам и возможностям языка, вторая — к реализации подобных ресурсов и возможностей в том или ином тексте, у того или иного писателя, ученого или просто-напросто пишущего человека, хорошо понимающего, однако, особенности родного или очень близкого ему языка. Само наличие в любом развитом языке многочисленных синонимов (не только, разумеется, лексических, но и грамматических, синтаксических, стилистических) свидетельствует о том, что язык обычно предоставляет свои многочисленные ресурсы говорящим или пишущим людям. Именно этим прежде всего естественные языки мира отличаются от всевозможных искусственных «знаковых построений», которые обычно довольствуются принципом однолинейных противопоставлений «да — нет», «черное — белое», «хорошо — плохо».

Несомненно, имеется качественное различие между эстетикой речи у большого писателя и эстетикой речи у человека, который стремится писать хорошо свои обычные бытовые и деловые «бумаги». Подобное различие известно: у писателей сам язык становится как бы частью их творчества. На аналогичном несходстве основано и другое деление — литературоведческой стилистики и стилистики лингвистической.

Проводя это последнее деление, не следует, однако, забывать, что и та и другая стилистика имеют дело с языком в его различных функциях, в том числе непременно и в функции эстетической. К сожалению, с этим не всегда считаются. Так, например, в недавно опубликованном, и в целом интересном, коллективном сборнике «Смена литературных стилей» утверждается: «Стиль Ю. Казакова во многом коренится в трудных, подчас темных сторонах быта и в извилинах личного чувства» («Смена литературных стилей», М., 1974). В таких утверждениях стиль прямо связывается с бытом и чувствами, как бы минуя формы языка. Между тем, как бы ни была специфична стилистика литературоведческая в отличие от стилистики лингвистической, обе они имеют дело с языком.

Эстетика языка предопределяется самими ресурсами и воз-

можностями языка. Чем богаче и разнообразнее подобные ресурсы и возможности, чем богаче и разнообразнее литературная традиция данного языка (все это определяется историческими условиями его сложения и последующего развития), тем потенциально богаче и эстетика языка. Мы все постоянно слышим, что на анализируемом языке можно «сказать и так и этак», что одну и ту же мысль можно передать «разными словами» (причем «словами» — здесь в самом широком смысле). Под этими несколькими наивными школьными формулировками кроется, однако, верная и глубокая мысль: ресурсы любого развитого языка неисчерпаемы. На эту же неисчерпаемость и опирается эстетика языка. На нее же должна опираться и теоретическая разработка эстетической функции языка.

При всем значении разграничения эстетики языка и эстетики речи между ними существует и постоянное взаимодействие. Дело в том, что эстетика языка как бы реализуется в эстетике речи. Здесь можно провести частичную аналогию с взаимоотношением между самим языком и самой речью: любой естественный язык обычно бытует в процессе функционирования в речи. Грамматики русского или английского языков в абстракции существуют «сами по себе», но, чтобы проследить их функционирование, необходимо проследить их силу и эффективность в речи. И все же грамматику или лексику языка, тем более его фонетику и фонологию, легче представить в абстракции (их системы и их контуры очерчены достаточно четко), чем эстетику языка. В этом отношении взаимодействие между эстетикой языка и эстетикой речи оказывается более тесным и непосредственным, чем взаимодействие между языком и речью вообще.

К сожалению, до самого последнего времени у нас обычно не различают эстетики языка и эстетики речи. Если и признавались «какие-то» эстетические функции языка, то они обычно сводились к эстетике речи. В свою очередь эстетика речи истолковывалась узко, лишь применительно к текстам художественной литературы. Я убежден, однако, что сводить эстетику речи только к художественной литературе (к поэзии и к прозе) — означает безмерно обеднять самый предмет эстетики речи и тем самым неверно изображать типы и виды ее взаимодействия с эстетикой языка.

К сожалению, стали уже весьма распространенными такие утверждения: «При изучении научного произведения вопросы стиля, если он удовлетворяет простейшим условиям ясности, не имеют никакого существенного значения» (Б. В. Томашевский. Стилистика и стихосложение. Л., 1959). «Чтобы написать в наше время научную статью, не нужно вообще уметь писать: достаточно иметь в своем распоряжении лишь некоторый, сравнительно огра-

ничейный, набор языковых средств» (см. коллективный сборник: «Развитие функциональных стилей современного русского языка». М., 1968). Но с помощью «ограниченного набора языковых средств» в науке можно разрабатывать лишь самые элементарные положения. Поэтому оба приведенных описания научного стиля изложения должны характеризовать не стиль больших ученых, а стиль «научных подмастерьев». «Ограниченный набор языковых средств» ни в какой мере не аттестует сочинения таких ученых, как физиолог И. П. Павлов или историк Е. В. Тарле, физик С. И. Вавилов, кораблестроитель А. Н. Крылов или литературовед А. Н. Веселовский. Я уже не говорю о языке сочинений основоположников марксизма и ленинизма — языке, который всегда выделялся своими богатейшими, почти неисчерпаемыми возможностями.

В «Плодах просвещения» Льва Толстого, где изображен псевдоученый профессор Кругосветлов, зрители пьесы поражаются прежде всего «ограниченным набором языковых средств», которым располагает профессор. То же можно сказать и о языке бездарного ученого Астье Рею — героя романа А. Доде «Бессмертный». В мировой литературе известны и другие отрицательные персонажи лжеученых, «набор языковых средств» которых отличался либо крайней скудостью, либо сводился к немногим стандартным формулам, стандартным клише (см. А. В. Македонов. Личность ученого в художественной литературе, в сб. «Человек науки». М., 1974).

Крупный современный физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии Луи де Бройль совершенно справедливо заметил, что «стилем математических формул» можно закрепить уже приобретенные знания, но развивать эти знания невозможно без помощи всех средств литературного языка. Как это ни странно с первого взгляда «обычный литературный язык более точен в своей кажущейся неточности, чем строгий язык формул» («Избранные статьи и речи Луи де Бройля». М., 1967). Разумеется, стиль современного научного изложения широко опирается на термины, на формулы и на схемы, но для того, чтобы быть настоящим научным стилем, он обязан считаться с богатейшими потенциями общелитературного языка. Без постоянной «оглядки» на общелитературный язык научный стиль всегда будет хилым и невыразительным. Он окажется лишенным живого внутреннего движения. Поэтому проблема эстетики языка — это не только проблема языка художественной литературы, как обычно считают, но и проблема литературного языка в целом, в многообразных его разновидностях.

Сказанное отнюдь не означает, что научное изложение не имеет своей специфики. В свое время Б. Рассел рассуждал так:

«Допустим, что я иду с приятелем темной ночью и что мы потеряли друг друга. Мой приятель кричит: где вы? Я отвечаю: здесь. Наука не признает такого языка. Она скажет: в 11.32 пополуночи, 30 января 1948 года Бертрам Рассел находился в пункте  $4^{\circ}3'29''$  западной долготы и  $53^{\circ}16'14''$  северной широты» (Бертрам Рассел. Человеческое познание, его сфера и границы, русский перевод. М., 1957). Все это, однако, отнюдь не означает, что «все научные языки — это искусственные языки», как думают теперь многие (см., например, Ю. М. Лотман. Анализ поэтического текста. Л., 1972). Аналогичные мысли выражал в XVIII веке Кондияк, а в XIX веке Герbart, как показал Е. Спекторский (Понятие общества в античном мире. Варшава, 1914). Подобное утверждение искажает самый принцип соотношения между общелитературным языком и его «научной разновидностью». Как я только что отметил, научный стиль изложения прочно опирается на ресурсы общелитературного языка и из него вырастает. Научный стиль изложения не образует особого языка (в одном языке не могут бытовать разные языки — *contradictio in adjecto*), он является лишь разновидностью общелитературного языка.

Как это и ни парадоксально с первого взгляда, приведенное из книги Рассела «научное предложение» почти все состоит из общелитературных элементов языка, хотя и кажется необычным: общелитературной является сама конструкция предложения и такие слова, в него входящие, как *полуночи, январь, находится, пункт, долгота, широта, западный, северный* и т. д. Разумеется, в подобное предложение входят и термины (*широта, долгота* и другие), но, во-первых, термины — это тоже достояние литературного языка и, во-вторых, термины сочетаются с обычными словами, бытующими в повседневном языке. Сам научный стиль изложения опирается на подобное сочетание. Безусловно правы те немногочисленные ученые, которые подчеркивают: «уничтожение обычного языка привело бы к уничтожению и языка науки, он стал бы непонятным» (А. А. Зиновьев. Логика науки. М., 1971).

Хорошо известно, что в средние века европейским «языком науки» была латынь. В ту эпоху — это действительно был особый язык, иной по отношению к родному языку ученых. Когда же стали переходить на родной язык и в науке (этот процесс происходил в Европе постепенно, в основном на протяжении XVI—XVIII веков), то первоначально «слишком литературный характер» изложения Галилея раздражал и вызывал недовольство у Декарта. Вместе с тем, как это заметил историк европейской науки Л. Ольшки, «совершенство художественной формы изложения» вначале было достигнуто на поприще естествознания, в процессе изучения естественно-биологических и геолого-географических наук (Лео-

пардо Олышки. История научной литературы на новых языках, русский перевод. М., том 3, 1933).

Сознание важности естествознания не заслоняло и не вытесняло другого сознания — важности ясного и простого изложения. Так всегда было у действительно больших ученых. В своих по-смертно опубликованных «Мыслях» (1670) один из великих математиков XVII столетия Блез Паскаль заметил: «Когда открывают научную книгу и убеждаются, что в ней изложено все просто и все ясно, то читатели удивляются: они ожидали встречи с важным и чопорным автором, а знакомятся с обыкновенным человеком» (B. Pascal. Pensées, Paris, 1950). В этом афоризме замечательного ученого уже выражалась тревога по поводу возможного и нежелательного обособления научного стиля изложения от обычного языка повседневного общения.

В дальнейшей истории науки подобное частичное обособление научного стиля все же произошло, но у подлинных ученых связи этого стиля с общелитературным языком продолжают оставаться твердыми и устойчивыми. Именно поэтому проблема эстетики языка — это проблема не только стиля художественной литературы, но и проблема общелитературного языка, проблема научного стиля изложения.

*Продолжение следует*

*Р. А. БУДАГОВ*

## УСТНАЯ РЕЧЬ КАК ИСКУССТВО

---

Теперь реже пишут родным и близким: из города в город, из страны в страну все чаще говорят по телефону. Последние новости большинство наших современников узнает не из газет — по радио. Сколько лекций читается по Советскому Союзу!

Устная речь приобрела невиданную силу. А между тем характер звучащего слова и средства ораторского искусства изучаются

мало. Правда, время от времени появляются работы, посвященные общей проблеме устной речи. Следует назвать, например, книгу Г. З. Апресяна «Ораторское искусство» (М., 1969); сборник «Мастерство устной речи» (М., 1967). И тем не менее вопрос о культуре устной речи стоит по-прежнему чрезвычайно остро. Культура устного доклада, лекции, культура заранее продуманного, действительного слова у нас стоит еще очень низко.

Не только писатель... любой канцелярист в своем письменном отчете перечитывает и выправит не к месту поставленное слово, сгладит тяжеловесный оборот, попытается избежать повторений. Как неряшливо бывает, в сравнении с этим, устное слово, даже прочитанное с листа бумаги!

Гоголь в письме к С. Т. Аксакову говорил о том, как важно писателю отчетливо видеть перед собой своего многоликого читателя, к нему обращаться.

Деятелю устного слова — куда легче. У него не воображаемый слушатель, а действительно находящийся перед ним. Воображаемым он остается только в процессе подготовки к устному выступлению.

Но не приходилось ли вам видеть докладчика, который вычитывает что-то из тетради, не замечая, что его уже никто не слушает? Несмотря на невиданные технические открытия последних десятилетий, не изобретен еще такой барометр, который бы показывал степень внимания и заинтересованности аудитории. А жаль!

Представьте себе такую картину: в обширном зале собрались сотни людей, докладчик что-то читает, а стрелка барометра показывает, что внимание на нуле и ниже нуля. Все возрастающее «антивнимание»! Кто тихонько разговаривает с соседом, кто читает, кто пишет, кто просто думает свою думу.

Чуткий лектор знает, что существует, по крайней мере, три вида тишины: 1) тишина приличной и рассеянной благопристойности под аккомпанемент шелеста и шепота; 2) тишина настороженного внимания, когда все серьезно слушают, некоторые записывают, и 3) взволнованная тишина: никто не шелохнется, даже сдерживают дыхание.

Хорошо, если вы не выпускаете аудиторию из состояния второй тишины. Но как хочется, как необходимо хоть иногда достигать вершины — третьей тишины. На обоих повышенных уровнях внимания совершается интеллектуальная работа очень большого напряжения. Совместная работа оратора и слушателей. Очень ценная для нашей культуры, для нашего общественного развития и роста.

Скучающая аудитория, нулевое внимание сотен собравшихся людей — это не только потеря времени. Не просто зря растратчен-

ные сотни и тысячи человеко-часов. Вред такого рода бесконтактных собраний куда серьезнее.

Слушая на научных конференциях доклады специалистов в самых разнообразных отраслях науки, даже филологов, поражаешься, видя, что не все умеют написать доклад так, чтобы он мог дойти до слушателя. При большой насыщенности цитатами однообразно и отрывисто повторяется: цитирую, цитирую, цитирую... Докладчики сплось и рядом не умеют голосом выделить цитату так, чтобы она не смешивалась с основным текстом. Стихи читают, как прозу, а прозу, как вереницу на один стержень нанизанных, ничего не значащих звуков. Нередко бравурный, однообразный, напористый темп заменяет живые и бесчисленные оттенки человеческого голоса.

Самый старательный слушатель уже ни во что не вникает и только по объему рукописи хочет догадаться, когда же будет конец.

Несмотря на долгие годы практики, вузовский лектор нередко оказывается удивительно неискусным, совершенно разобщенным с аудиторией, именно потому, что никогда не работал над культурой устной речи.

Как и с чего начинается такого рода работа?

С постоянной внутренней настороженности. Слово — не только средство общения между людьми, это и орудие мышления. Нужно себя приучить мыслить в живых, ясных, последовательных и достаточно убедительных формах. Кто наедине с самим собой тренирует внутреннюю свою речь, тот вооружает себя и для выступления перед аудиторией.

Репетициями для будущих выступлений должны стать повседневные ваши беседы с друзьями и знакомыми, в семье, дома. Мы слишком часто отрываем слово, произносимое с кафедры, от живого разговорного слова, пренебрегаем разговорным словом и этим подрубаем корни у нашего лекторского слова.

Наша студенческая молодежь слишком решительно отделяет науку от досуга. Представьте себе такую картину: умный и увлеченный юноша на вечеринке попытается заговорить о любимом поэте или, тем паче, о только что прочитанной научной статье; почти наверняка его тотчас же прервут веселыми возгласами: «Мы не на семинаре! Мы собрались поболтать и повеселиться». А между тем, именно в вольной дружеской беседе формировался непринужденный, естественный и подлинно ученый стиль стольких передовых деятелей науки. Поэтому-то и с кафедры они умели и умеют обращаться с речью, не затянутой в мундир.

Как часто трудному искусству устного слова можно научиться у рассказчика, который к лекторскому делу никакого отноше-

ния не имеет. У него — жизненный опыт и выработанное годами умение этим опытом поделиться. Он говорит о том, что своими глазами видел, о том, что он пережил.

Самая суть живого слова — в таком знании предмета, когда говорящий чувствует себя в этой сфере идей и фактов совершенно как у себя дома. Это, конечно, главное, но сейчас мы заняты другим — чисто *речевой* стороной лекции и доклада на любую тему.

Обогащение активного словаря — постоянная забота лектора. Остерегайтесь, как заразной болезни, ходячих речевых штампов. Мертвые слова очень удобны для того, чтобы прикрыть отсутствие мысли, но для слушателя они остаются пустым звуком.

Полюбилась, например, обветшавшая, обесцвеченная метафора — *подчеркивать*. Чего только не подчеркивали? Подчеркивали чувство... мечту... *всячески* подчеркивали, даже — подчеркивали... черту. Тогда как в одном случае лучше было бы сказать: *оттеняет*, в другом — *выделяет*, в третьем — *усиливает*, иногда: *настаивает*, или даже: *упорствует*... Великое разнообразие синонимов, каждый со своей смысловой и стилистической окраской остается нетронутым, а гуляет одно давно затертое слово.

Бывают «дежурные» штампы, например, кстати и некстати стали употреблять слово *разговор*: «Большой разговор о поэзии», «Разговор о состоянии транспорта»... В другое время полюбилось слово *раздумье*. Не замечали, что это слово в значительной степени противоположно по значению слову *размышление*. *Раздумье* означает «рассеянное, неопределенное состояние душевной жизни». *Раздумье*, по Словарю В. И. Даля, — «сомнение, колебание в мыслях, нерешимость, опасение». «Раздумье да распутье... По раздумью, что по болоту: поколь не выбредешь, все зыбко».

В устную речь из письменной речи проникает искусственная, порою совершенно нелепая осложненность. «Каждый носитель языка осуществляет свою коммуникативную деятельность при помощи своей индивидуальной речевой системы...». Это не нарочно выдуманно, это не карикатура. Так говорят, так пишут, так читают лекции. А если перевести на русский язык, остается весьма бедное содержание: каждый человек пользуется общим для всех языком, но говорит по-своему. И дело не в одном только излишнем засорении иностранными словами. Чего стоят эти словосочетания: «носитель языка осуществляет... деятельность при помощи ...системы» — претензия на лингвистическую ученость и простая неграмотность, неумение пользоваться родною речью.

Итак, ни ученая степень, ни даже специальность языковеда не обеспечивают грамотность речи, тем более ее стройность, ее ясность, умение проникать в чужие умы и сердца, совершая полезное и нужное дело.

Культивировать естественное интонационное богатство языка особенно важно в устной речи. Нужно осязать слово. В каждом выступлении, как и в научном докладе, слово должно звучать по-своему, соответственно своему смыслу, действительному для конкретного случая и определенного времени, согретое живой обращенностью к людям.

Как готовить живое устное выступление?

Следует ли его полностью для себя предварительно написать? Вряд ли тут возможно общее правило... Был у меня такой случай. Занимался я со студентами культурой устной речи. В группе был один особенно добросовестный студент. Все участники семинара по очереди делали доклады, кто лучше, кто хуже. Дошла очередь до этого отличника. И вдруг произошел скандал. Он начал свое выступление довольно бойко, запнулся, сорвался. И ничего сказать больше не мог. «— Не написали ли вы заранее весь текст доклада? — Да, вот у меня все в тетради написано...»

Цицерон, говорят, писал свои речи и заучивал их наизусть, а потом декламировал как стихи. Студент написал, но наизусть, конечно, не выучил. И у него произошло расщепление внимания между припоминанием того, что было записано в тетради, и живым движением мысли и слова.

Вот почему для предстоящего устного доклада, для лекции на отлично известную тему лучше иметь не текст, а конспект, дающий направление мысли, содержащий отдельные формулировки и, если нужно, даты, имена, цитаты.

Лучше всего слушают тех, кто думает перед аудиторией и делится с нею своими мыслями. Это, однако, не значит, что такое выступление — импровизация. Нет, конечно, ведь мысли эти давно обдуманы, сообщаются факты, накопленные в течение долгих лет. Когда же появляется в лекции что-то новое и для самого лектора, то оно вытекает из его давнего опыта.

Многие ученые хорошо знают: новые и значительные мысли, которые просятся потом через перо на бумагу, первоначально возникают во время лекции.

Все ли публичные выступления желательно делать без помощи готового текста? Нет, не все. Научный доклад, в котором основные положения новы, где каждая формулировка добывалась путем многочисленных уточнений, где каждое слово взвешено и на своем месте, совершенно естественно читать по готовому тексту.

И если текст рассчитан на прочтение, это должно сказаться на его стиле: в обращенности к живым слушателям, в большем разнообразии интонаций, которые в полной мере нужно реализовать в процессе чтения.

Конечно, научный доклад нельзя читать так, как Гоголь или Диккенс читали свои сочинения. И строже и проще. Но богатство интеллектуальных интонаций не менее велико и разнообразно, чем интонаций эмоциональных, порожденных образным, поэтическим словом.

После доклада, хотя бы и содержательного, но неумело прочитанного, слушая с кафедры человеческую речь, естественную и живую, как встрепенется вся аудитория, как она настрожится, как на воображаемом барометре внимания дрогнет стрелка и начнет подниматься вверх.

Это о написанном и читаемом докладе.

Но доклад, не претендующий на строгую ученость, на открытие нового, лучше произносить без готового текста, сообразуясь с реальной аудиторией, с людьми, находящимися у вас перед глазами.

Как-то пригласили одного лектора сделать юбилейный доклад о Достоевском в театре. Он рассчитывал на интеллигентную и уж во всяком случае взрослую аудиторию. А вдруг увидел, что театр до краев полон школьниками, в том числе и младших классов. Вступительное слово председателя никто не захотел слушать. Видя это, докладчик перетасовал все, что собирался сказать, и начал с того, чем думал кончить: с трагической ситуации приговора к смертной казни, перенес основной акцент на драматические положения в жизни писателя, на конкретные сцены его произведений. И детвора слушала, затаив дыхание...

Первый закон устного слова: оно состоит в *общении* того, кто говорит, с теми, кто слушает. И в этом большая радость. То, что вы пишете, когда-то еще до читателя дойдет! А от устного слова загораются глаза у сидящей перед лектором молодежи. Они сегодня будут обдумывать и обсуждать сказанное вами.

*Доктор филологических наук,  
профессор  
А. В. ЧИЧЕРИН  
Львов*

# СОЮЗЫ ЦЕЛИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ XVIII века

---

Формирование сложноподчиненного предложения в русском языке представляет собой весьма сложный и длительный процесс.

Первостепенное значение в структурно-семантической организации сложноподчиненного предложения имеют, безусловно, грамматические средства связи главной и придаточной частей. Важнейшим из таких средств связи являются подчинительные союзы. Становление того или иного типа сложноподчиненного предложения тесно связано с развитием в его структуре определенных видов и значений именно подчинительных союзов. Подтверждением сказанному могут служить конструкции сложноподчиненных предложений с придаточным цели в русском литературном языке XVIII века.

В связи с тем, что целевые союзы в русском литературном языке XVIII века ранее не были предметом специального исследования, мы намерены кратко изложить некоторые из наших наблюдений по данному вопросу и постараемся обратить внимание читателя главным образом на пережиточные и новые явления в составе целевых союзов.

В литературных памятниках XVIII века одним из основных средств грамматической связи придаточных цели с главной частью выступают подчинительные союзы *чтобы, дабы, для того чтобы*.

В ряде случаев использование того или иного из указанных союзов определялось как жанровыми особенностями литературного произведения, так и особенностями авторского стиля. Попутно заметим, что если союз *дабы* к концу XVIII — началу XIX веков сокращает сферу своего употребления, то союзы *чтобы, для того чтобы*

оказываются наиболее устойчивыми и пригодными для передачи целевых отношений во всех стилях русского литературного языка вплоть до наших дней.

Как показывает исследованный нами материал, в русском литературном языке XVIII века придаточные цели присоединялись к главному предложению несколько бóльшим количеством союзов, чем в современном русском языке. В произведениях некоторых авторов первой половины XVIII века встречаются придаточные цели, оформленные союзами *чтобы, дабы, еще бы, еже бы, еже* и некоторыми другими. Например: «Надлежит же и о крестьянстве вспомнить, чтобы и их от разорения и от обид поухранить и в лености б пребывать им не попускать, дабы от лености во всеконечную скудость не приходили» (И. Т. Посошков. Книга о скудости и богатстве. М., 1937); «Благоденствуй же и ты, державнейшая государыня наша, мать всероссийская, всего великодушия, всего любомудрия твоего употреби, еще бы утолить и победить тебе скорбь толикую!» (Феофан Прокопович. Сочинения. М.—Л., 1961); «И з запрещением отсещи сие, еже бы отнюд к престолу божню в лаптях не приступали...» (И. Т. Посошков. Книга о скудости и богатстве. М., 1937).

Использование целевых союзов *еще бы, еже бы, еже*, вышедших в дальнейшем из употребления, связано обычно со старой книжной традицией (или со стилизованной речью).

В русском литературном языке первой половины XVIII века встречаются сложные предложения, в которых главная и придаточная части объединяются сочетанием одного из целевых подчинительных союзов *чтобы, дабы* с сочинительным союзом *и*: *чтобы (дабы) — и, и чтобы (дабы)*. Например: «И ради охранения крестьянского от помещиков их, надлежит и в помещичьих поборех учинить по земле ж и чтоб болши положенного окладу отънют на крестьян своих не накладывали» (И. Т. Посошков. Книга о скудости и богатстве); «Но дабы мы могли о всем лучше советовать и порядки учинить, и для того приехать тебе в Киев необходимо нужно немедля» (В. Н. Татищев. История Российская, т. III. М.—Л., 1964).

Скрепление частей сложного предложения с помощью не только подчинительного, но и сочинительного союза отражает, несомненно, процесс перехода данных синтаксических конструкций от сочинения к подчинению. В русском литературном языке второй половины XVIII века подобная связь главной и придаточной частей в целевом сложноподчиненном предложении уже не обнаруживается.

В ряде литературных памятников XVIII века на протяжении всего рассматриваемого периода употребляются придаточные цели,

оформленные союзом-частицей *да*. Например: «Я врач присланный к тебе и тебе подобным, да очищу зрение твое» (А. Н. Радищев. Путешествие из Петербурга в Москву).

Сказуемое в подобных придаточных цели обычно выражено глаголом изъявительного наклонения.

В древнерусской письменности старшей поры союз *да* был, по свидетельству ряда исследователей, основным средством присоединения придаточных цели. В русском литературном языке XVIII века этот союз занимает уже более скромное место по сравнению с другими целевыми союзами. Однако сложные предложения с целевым союзом *да* еще находят применение в произведениях общественно-политического характера таких авторов, как Феофан Прокопович, В. Н. Татищев, В. К. Тредиаковский, Н. И. Новиков, А. Н. Радищев. В современном русском литературном языке придаточные цели, оформленные союзом *да*, воспринимаются как архаические.

Заметим, что в русском литературном языке XVIII века уже не употребляется целый ряд формальных средств связи частей целевого сложного предложения, которые были свойственны древнерусскому и старорусскому языку. Так, уже не встречаются сложные предложения, в которых целевые отношения главной и зависимой частей выражались бы с помощью союзов *абы*, *оже* и других.

В литературных памятниках XVIII века обнаружены единичные примеры присоединения придаточных цели к главной части с помощью союзов *лишь бы* и *только бы*. Данные целевые союзы образовались путем объединения в одно целое модальных частиц *лишь* и *только* с частицей *бы*. Первые из этих частиц придают придаточному предложению ограничительно-целевое значение, а второй компонент *бы* выражает желательность и служит показателем сослагательного наклонения глагола-сказуемого в придаточном цели. Например: «...С таким хорошим товарищем готов я обегать весь Петербург, лишь бы было мне чем во всяком кабаке учредить станцию» (И. А. Крылов. Почта духов).

Целевые союзы *лишь бы*, *только бы* зафиксированы в текстах, отражающих специфику разговорной речи. Эти союзы, получившие сравнительно широкое распространение в современном русском языке, не встречаются в памятниках письменности ни древнерусского, ни старорусского языка и представляют собой новое явление в составе целевых союзов русского литературного языка XVIII века.

В памятниках письменности XVIII века сохраняются еще некоторые целевые союзы, характерные для древнерусского и старорусского языка, вместе с тем появляются новые, ранее неизвестные союзы, выражающие целевые отношения частей сложнопод-

чиненного предложения. Все это еще раз подтверждает мысль о том, что становление сложноподчиненных предложений цели в русском языке представляет собой сложный и длительный процесс.

*Кандидат филологических наук  
Д. И. РУЧКО  
Новозыбков*

# НЕПЕРЕВОДИМЫЕ ОСЕТИНСКИЕ СЛОВА В РУССКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РЕЧИ

---

Вопрос стилистического использования в русской художественной речи слове из того или иного языка народов СССР неразрывно связан с общей проблемой языковых контактов, стимулируемых всей жизнью единого многонационального социалистического государства. Научное осмысление этой многоаспектной проблемы еще отстает от требований жизни. Особенно слабо изучен вопрос об обогащении русского языка в процессе взаимодействия с языками народов СССР.

Постоянное, живое контактирование, например осетинского и русского народов, обусловило широкое естественное взаимное обогащение их языков. Осетинские топонимы, антропонимы и безэквивалентные слова, называющие специфические предметы и понятия, стали понятными для сотен тысяч русских людей. Такую же картину мы наблюдаем во всех областях и республиках Советского Союза.

Русский язык, став языком межнационального общения, накапливает в себе безэквивалентные слова всех народов СССР и становится посредником между языками наших народов.

В настоящей статье ставится задача показать семантико-стилистическую мотивированность включения в язык художественного

произведения, написанного по-русски, слов того именно народа, о жизни которого повествуется.

Конкретным материалом данной статьи является язык произведений осетинских авторов — главным образом основоположника осетинской литературы Коста Хетагурова, большая часть произведений которого создана на русском языке, и известной советской осетинской писательницы Е. Уруймаговой, писавшей только на русском языке.

Органическим элементом языка произведений указанных авторов, как и всякого другого национального произведения на русском языке, являются топонимы и антропонимы, выполняющие роль своеобразных экзотизмов. Именно они задают необходимый тон всему повествованию и создают «необходимую установку на восприятие» своеобразного национального, местного колорита.

Самый отбор авторами осетинских слов в русский текст определен специфичностью тематики. Многие из «местных слов» воссоздают исторический колорит, например, *абрек* 'горец, вступивший на путь одиночной борьбы против богачей и царских чиновников', 'разбойник'; *алдар* 'князь, феодал, помещик'; *баделята* 'помещики'; *кавдасард* 'сын рабыни', 'холоп'; *быдираг* 'человек равнины', *хохаг* 'горный житель' и другие.

Слово *абрек* зафиксировано еще в языке произведений А. Бестужева-Марлинского, М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого и стало в русском языке общекавказским словом. Именно как общекавказское слово оно вошло в словари. В 17-томном «Словаре современного русского литературного языка» это слово снабжено стилистической пометой «историческое». Как историзм оно выступает и в языке художественных произведений: «Беглец, измученный дорогой, Подчас беспомощный абрек, Больной, слепой, старик убогий — Привет им, отдых и ночлег» (К. Хетагуров. Фатима); «Очень любит Хадизат этот камень... Сторожевым постом от нападения абреков называет она этот камень» (Е. Уруймагова. Навстречу жизни).

Слова *алдар* и *баделята* употребляются главным образом в работах по истории Осетии и Кавказа и в языке художественной литературы.

Интересна картина употребления локализма *баделята* в различных изданиях романа Е. Уруймаговой «Навстречу жизни» в речи одного и того же персонажа — горца Темура Савкуева.

*Издание 1951 года*

«Ты, холоп господский, привык наносить удары в спину. Это их привычка, в открытый бой они не вступают, труссы».

*Издание 1969 года*

«Ты учился у баделят наносить удар в спину... Это их привычка — в открытый бой они не вступают, труссы...».

В сноске дается пояснение: «Баделята — привилегированное сословие». Чем же объясняется авторская замена русского литературного слова местным, которое требует специального толкования? В данном случае у слова *баделята* стилистически значимым является не только само содержание, отягощенное грузом специфических понятий среды его бытования, но и местный, национальный колорит слова.

Менее употребительны, но не менее значимы со стороны семантико-стилистической роли в языке художественного произведения осетинские слова *кавдасард* и *быдираг*. Они передают историческую самобытность прошлой жизни осетин. «Без кола, без двора, что ты такое будешь? «Временный», «пришелец», «кавдасард», как вас, безземельников, бедняков, называют... Толкнут, обзовут, а ты и вступить не посмеешь. Не человек будешь, а кавдасард» (Е. Уруймагова. *Навстречу жизни*).

Локальное слово может заменяться исконно русскими параллелями, о чем свидетельствует, в частности, авторская правка «Навстречу жизни» в разных изданиях;

#### *Издание 1951 года*

«Не проведать... Моей смерти не дождешься, хоххаг», — снова повторила она (Саниат.— И. Г.) слово «хоххаг».

Это слово презрительно звучит в устах осетина, живущего на равнине. Зато слово «быдираг» хоххаг всегда произносит с завистью».

#### *Издание 1969 года*

«Не проведать... смерти моей не дождешься никак, хоххаг», — снова подчеркнула она слово «хохаг».

«Это слово презрительно звучит в устах равнинного осетина. Зато слово «быдираг» горный житель произносит всегда с завистью».

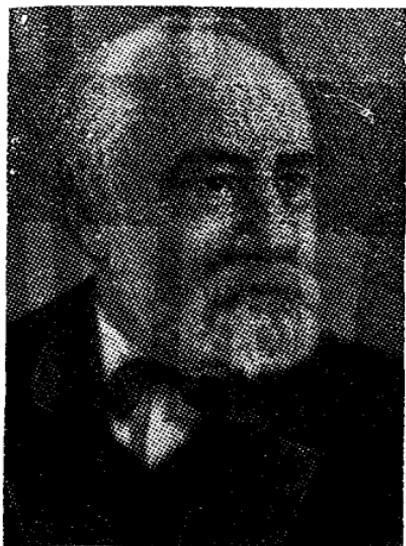
Внесенные автором исправления дают возможность читателю уяснить значение слова *хохаг* из контекста, а *быдираг* толкуется в сноске: «Быдираг — человек равнины».

Рассмотренные выше слова служат средством воссоздания исторического колорита.

Близки к первым по семантико-стилистической функции и национальные слова-названия (например, наименования обуви, предметов быта, кушаний и т. п.). Довольно часто вводятся в речевую ткань произведений слова *арчита* «обувь из сыромятной кожи» и *фынг* «трехногий столик». В романе Е. Уруймаговой: «Пастух сгорбился и, хрустя сухими арчита́ми по песочной тропинке двора, поднялся к Саниат»; «Принеси-ка нам покушать, девушка», — перебила Саниат знахарку, зная, что лезть ее до тех пор не иссякнет, пока не появится перед нею *фынг*, заставленный вкусными кушаниями». В словаре-примечании дается объяснение: «*Фынг* — круглый точеный стол о трех ножках у осетин; угощение». Трудно найти русские эквиваленты словам *арчита* и *фынг* без

ущерба для повествования, как и нельзя заменить, например, осетинское слово *симд* нейтральным русским словом *танец*. Безэквивалентными являются и локализмы — названия особых национальных кушаний, блюд: *олибах* 'пирог с сыром' и *фидчин* 'пирог с мясом': «Подали румяный фидчин, шашлык на вертелах..» (Е. Уруймагова. Навстречу жизни). Не случайно газета «Литература и жизнь» (27 марта 1959 года), напечатав лирический рассказ Х. М. Мугуева «Песня» (о встрече человека с песней детства в родном краю после многолетней разлуки), сочла нужным дать в сноске пояснения осетинским словам *олибах* и *фидчин*, а не заменила их какими-либо эквивалентами: «Я слушал песню, и, странное дело, я вспомнил не только людей, но и запахи сакли, ароматы сада, какие-то отрывистые слова деда... Даже густой, своеобразный аромат калмыцкого чая, всегда варившегося у нас, вкус олибаха и фидчина — все встало передо мной». Подобные слова вызывают у читателя нужные ассоциации, создают эмоциональную настроенность; словом, выступают в качестве языковых средств, выражающих «идейное и связанное с ним эмоциональное содержание литературных произведений» (Л. В. Щерба. Опыты лингвистического толкования стихотворений. М., 1957).

И. Е. ГАЛЬЧЕНКО



# Алексей Иванович СОБОЛЕВСКИЙ

1856—1929

Алексей Иванович Соболевский родился в семье мелкого московского чиновника. Окончив гимназию, он поступил в Московский университет, где слушал лекции таких выдающихся ученых, как Ф. И. Буслаев и Ф. Ф. Фортунатов. Именно их он называл впоследствии своими учителями, а в своей научной деятельности занимался теми проблемами, которые поставили эти специалисты. Вобрав в себя многие научные проблемы своего времени, он занялся делом всей своей жизни — изучением древнейших периодов истории славянства, преимущественно восточного. За долгую свою жизнь магистр и приват-доцент Киевского университета, затем доктор и профессор Киевского и Петербургского университетов, академик А. И. Соболевский написал около пятисот работ, которые до сих пор служат первоисточниками для изучающих историю русского языка. Никто больше него не сделал в области славянского языкознания конкретных открытий, ставших золотым фондом этой науки. Ему же принадлежит замысел создания полного Словаря древнерусского языка (самые первые карточки в картотеке Древнерусского словаря, еще не изданного, написаны его рукою) и полного свода древнерусских текстов, в том числе переводных. Сам Соболевский успел подготовить только несколько палеографических альбомов — образцов письма древнерусских книжников и «Великорусские народные песни» в семи томах (4772 песни и варианты песен).

Основой его философских взглядов был позитивизм. Научно установленный и достоверный факт как начало и конец научного исследования, максимальная осторожность в выводах и обобще-

ниях, отрицательное отношение к теоретическим построениям широкого плана — авторская позиция А. И. Соболевского. В ней, между прочим, заключается причина последовательной полемики Соболевского с другим выдающимся славистом — академиком А. А. Шахматовым, который, напротив, большое значение придавал научным гипотезам.

Основным источником исследования для Соболевского является древняя рукопись, письменный памятник, способный дать многостороннюю информацию о прошедших временах. Универсальность древней рукописи определила его критическое отношение к другому важному источнику — современному говору. Если для академика А. А. Шахматова современный говор в его архаическом варианте является основным фактическим материалом о древнем языке, то Соболевский считает, что письменный памятник и в этом отношении способен дать больше. Вместе с тем, он не отрицает и значения современных говоров: они подтверждают свидетельства рукописи, указывая на то, что данное изменение языка сохранилось до настоящего времени. А как быть с теми древними изменениями, которые ни в одном говоре не сохранились? Например, в древнерусском языке было два носовых гласных звука, которые на письме обозначались особыми буквами — юсами *ѣ* и *ѥ*. Ни в одном русском говоре эти гласные не сохранились, и теперь нам трудно представить себе причину и последовательность их изменения. На помощь приходят самые ранние русские рукописи, которые отражают это изменение в смешениях букв.

Обе диссертации А. И. Соболевского связаны с изучением русских рукописей и установлением древнейших особенностей русской речи: магистерская «Исследования в области русской грамматики» (Варшава, 1884) и докторская «Очерки из истории русского языка» (Киев, 1884). Более ста рукописей разного состава и объема обследовал и описал Соболевский, готовя эти работы. В них скрупулезно собраны тщательно проверенные очень редкие факты. Нужно сказать, некоторые морфологические формы настолько редки, что вероятность их употребления в тексте чрезвычайно мала, а возможность употребления необычной, нужной исследователю формы становится вообще проблематичной. Чтобы собрать коллекции примеров с русской формой в им. падеже ед. числа мужского рода типа *мога, неса* (в старославянском им соответствуют *могы, несы*; русская форма сохранилась в некоторых пословичных выражениях: *кто кого смога, тот того и в рога*), или с интересным окончанием для 2 лица ед. числа настоящего времени типа *желаеси* (вместо *желаеши*), нужно просмотреть тысячи листов рукописного текста, проверить эти примеры, сопоставить с данными других славянских языков и объяснить. Академик Со-

боловский всегда касался самых спорных и сложных проблем древнего славянского и русского языков.

Докторская диссертация А. И. Соболевского важна еще в одном отношении. Она поставила вопрос о древнерусском диалектном членении. Древнерусский язык не мог быть однородным в отношении форм или слов. Он организовался из говоров различных племен и распространился на большой территории. Собрав вместе рукописи, определенно написанные на территории псковской земли и галицко-волинской Руси, А. И. Соболевский тщательно описал основные особенности этих рукописей и выделил диалектные черты древнепсковского и древнего галицко-волинского говоров. Вот как делает он это применительно к галицко-волинским рукописям XII—XIV веков.

Обнаруживается, например, что только галицко-волинские рукописи вместо буквы *e* в отдельных случаях употребляют букву *ѣ* (ять): в некоторых корнях (*зѣлье, мѣчь, пѣчь, шѣсть, вѣць*, а не *зелье, мечь*, как следовало бы), в некоторых суффиксах или основах (*учѣнье, камѣнь, свѣдѣтель, времѣнно, небѣсный, матѣрь* вместо ожидаемых *ученье, камень*), в некоторых окончаниях (*въ нѣмь, о сѣмь, будѣть* вместо обычных *въ немь, будеть*) и в отрицании *нѣ*, которое восходит к сочетанию *не есть*. Такой *ѣ* Соболевский назвал «новым ятем» и объяснил его появление следующим образом: в русском языке в XII веке происходила утрата сверхкраткого гласного *ь* (см.: Русская речь, 1968, № 5), поэтому *e* в предыдущем слоге удлинялся и становился долгим, а долгий *e* в то время обозначался буквой *ѣ*. В самом деле, все «новые яти» появляются в слоге перед утраченным *ь* и всегда на месте *e*. Изучая сначала только памятники общего происхождения (галицко-волинские рукописи), А. И. Соболевский еще больше ограничивает сферу исследования: он определяет позиционные условия изменения. Теперь осталось подтвердить это открытие косвенными и сопутствующими данными. Действительно, в этой позиции и *o* могло удлиниться, можно привести пример из рукописи того же времени: *воовци* вместо *овьци* — у писца не было знака для «долгого *o*», и он написал два *o*, да еще прибавил *e*. Значит, условие изменения определено верно; перед нами не механические описки безграмотного писца, а закономерное отражение его произношения. За сменой букв скрывается изменение в произношении, по-видимому, диалектное. Собственно, для А. И. Соболевского этого уже достаточно, однако он добавляет, что и в современном украинском языке на месте «нового *ѣ*» последовательно употребляется звук *i*, а не *e*: украинцы произносят *камінь, зілле* точно так же, как и на месте исконного *ѣ*: *дід, сіно* (древнерусское *дѣдъ, сѣно*). Данные современного языка подтвер-

ждают, что старое изменение  $e > \bar{e}$  сохранилось до настоящего времени, «новый  $\bar{e}$ » действительно совпал со «старым  $\bar{e}$ ». Так была обнаружена и определена одна из важнейших особенностей древнеукраинского и современного украинского языков, выделяющая их из числа других восточнославянских языков. Впоследствии и сам А. И. Соболевский неоднократно возвращался к своему открытию, последовательно рассматривая его с палеографической, диалектологической и исторической точек зрения. Не все в этой вторичной интерпретации нас теперь удовлетворяет. Мы вряд ли согласимся с тем, что пинские и мозырские говоры являются украинскими, а не белорусскими, потому что в них отражается эта особенность произношения. Соболевский, как и многие ученые его времени, считал, что резких границ между говорами и языками нет, они постепенно переходят друг в друга отдельными своими особенностями, а на принадлежность к тому или иному говору указывают редкие и выразительные признаки. Так, отнесение к украинскому языку он и устанавливал по рефлексам «нового ятя».

Точно так же в докторской диссертации и в серии последующих статей (среди них: «Смоленско-полоцкий говор в XIII—XIV веках», 1886; «Откуда шла русская колонизация в Ростово-Суздальскую область», 1902; «Древнекиевский говор», 1905) Соболевский выявляет выразительные особенности других древнерусских говоров, устанавливая семь их типов, по числу важнейших древнерусских племен: галицко-волынские, псковские, киевские, смоленско-полоцкие, новгородские, северские и ростово-суздальские.

Метод исследования древних рукописей, которым пользовался Соболевский, по существу является синтетическим. Каждая работа его — это сложное полифоническое исследование сразу многих источников и исследование всестороннее. Вместе с тем, автору присуще внимание ко всем частным фактам, интуитивное умение связать их единой причинной связью, выделить самое существенное и объяснить его.

А. И. Соболевский — представитель младограмматического направления в языкознании. Это авторитетное в конце XIX — начале XX веков научное направление наложило на ученого свой отпечаток. Как и все младограмматики, он — последовательный филолог-универсал, еще не отграничивающий языкознание как самостоятельную научную дисциплину. Вместе с тем, он — славист, а не русист (подобно его ученикам, которые занимались изучением только русского языка). Его всегда привлекает исторический аспект языкознания (диахрония); характер и особенности современного литературного языка, по его мнению, не представляют собою самостоятельного объекта изучения.

Другая особенность младограмматиков также присуща А. И. Соболевскому: его интересует не весь язык как система, а только отдельные, наиболее интересные фрагменты этой системы и их изменения. Он изучает постоянно движущуюся, изменчивую речь того или иного человека или эпохи, а не язык народа.

В этой верности научной школе заключается внутреннее противоречие научной деятельности А. И. Соболевского и ограниченность его результатов, особенно в последние годы жизни. В отличие, например, от А. А. Шахматова, который под влиянием Бодуэна де Куртене активно пересматривал свое отношение к современному языкознанию, А. И. Соболевский остался филологом старого типа. В конкретных своих исследованиях он поднимался выше своих современников, в теоретическом отношении он оставался позади Бодуэна де Куртене, А. А. Шахматова, Ф. Ф. Фортунатова.

В полемике Соболевского с Я. К. Гротом по поводу русского правописания можно увидеть разное отношение историка языка и специалиста по прикладному «современному русскому языку» к одним и тем же фактам, имеющим практическое значение.

Грот предлагает писать *вогрушка* с *о*, а не с *а* — как *корова*, где первый звук *о* также не проверяется ударением; *ветчина* — потому что здесь якобы корень *вяд-*, *вя(лить)*; *деревяжка* — потому что в Академическом словаре указывается слово *деревяга*, к которому якобы *деревяжка* и относится. Всем трем рекомендациям Соболевский возражает. Нужно сохранить старое написание *ватрушка*, потому что и в северных русских говорах, где никогда безударные *о* и *а* не смешивались, произносят *ватрушка*, а не *вогрушка*; кроме того, все славянские языки, сохранившие слово *ватра* (сербский, словацкий), сохраняют здесь *а*: *ватра* — ‘огонь’. Написание *вогрушка* было бы искусственным образованием от глагола *втирать*. *Ветчина* восходит к слову *вечька*, *вечьца* ‘свинья’ и в древности представляла собою образование *вечьчина* ‘свинные копчености’; фонетические изменения, которые легко объяснить, дали *ветчина*, и потому писать нужно именно так. Что же касается *деревяги*, то это «выдуманное слово», которого никогда не бывало, искусственное образование составителей Словаря; в старом русском языке было слово *деревяха*, которое и дало обычное произношение с проверяемым *ш*: *деревяшек* (а не *деревяжек*). Именно так мы и пишем теперь эти слова: *ватрушка*, *ветчина*, *деревяшка*. Во многих других случаях правым также оказался А. И. Соболевский, а не Я. К. Грот, который пытался найти объяснение тому или иному написанию в фактах современного ему языка (и потому, например, *пескаря* связывал с *песком*, в котором он якобы живет, тогда как на самом деле общеславянским корнем, сохранным славянскими языками, был *писк-арь*). Соболевскому

во всех подобных случаях важна история слова, во всем переплетении его фонетических и грамматических изменений. Современный русский язык для него — всего лишь итог тысячелетней истории, краткий миг, в течение которого тот или иной факт имеет всего лишь прикладное, сиюминутное значение.

Однако мы ошибемся, если на основании всего сказанного будем понимать научную деятельность Соболевского как собирание редкостных фактов, а самого Соболевского как архивариуса.

Молодым человеком он начал с выявления различительных особенностей древнерусского и старославянского языков в области морфологии. До него эти два языка фактически не разграничивались, их считали одним и тем же языком в разных вариациях. На примере морфологии, той части языка, в которой пересекаются и фонетические, и грамматические, и лексические интересы, Соболевский показал разницу между литературным церковнославянским (и старославянским) и народно-разговорным древнерусским языком. Затем, в докторской диссертации, он наметил две последующие, параллельные друг другу линии исследования. С внутренней точки зрения, с точки зрения самого языка, важно было установить «законы» развития языка, и всего удобнее это оказалось сделать на материале фонетики. С внешней точки зрения носителей этого языка, важно было определить границы древнерусских говоров, переселения и контакты с другими народами и языками, заимствования слов и развитие литературного языка. Соболевскому принадлежит множество статей и заметок, в которых лингвистический факт тесно увязан с материальной историей народа или с местными названиями (топонимией). Так, рассматривая произношение самых древних славянских названий монет *пѣназь* и *стѣлазь*, он определяет их как заимствования из древнегерманского *phennig* (современное немецкое *пфенниг*) и *skilling* (современное английское *шиллинг*); тот факт, что эти заимствования уже отражают результат славянского изменения согласного *g* и *z*, позволяет Соболевскому точно датировать и время этого фонетического изменения, и время первого знакомства славян с денежной системой (не ранее конца I века н. э.).

Впоследствии Соболевский все более усложняет свое исследование, вводя новый материал, подвергая его постоянной проверке, расширяя сферу исследования. Например, в отношении внешней истории языка: он начал с диалектного членения древнерусского языка, затем создал цикл работ, посвященных русскому народному (разговорному) языку древнейшей поры, то есть определил общерусские черты в их отличии от западнославянских или южнославянских. Затем он остановился на изучении русского литературного языка древнейшей поры. В этом отношении он проделал боль-

шую работу по выявлению круга литературных памятников, написанных или переведенных либо у западных, либо у восточных, либо у южных славян, установил различительные особенности их лексики и грамматики. Только после этого Соболевский вынес исследование древнейших судеб восточного славянства на широкий фон индоевропейской проблематики: в последние годы жизни он изучал отношение восточнославянских языков к другим, родственным им индоевропейским языкам.

Каждый этап исследовательской работы Соболевского вписывается в общую линию развития русской науки его времени. Нужно только добавить, что во многих отношениях именно Соболевский вел за собою эту науку, во всех начинаниях и разработках был пионером, намечавшим тропы последующих поисков.

В. В. КОЛЕСОВ

---

ПОЧТА  
«РУССКОЙ РЕЧИ»

## ● САМОВИТЫЙ

И. И. Евтушенко из Гурьева заинтересовался прилагательным *самовитый*, которое встретилось ему однажды в журнальной статье: [Литература Сибири] «является *самовитой* частью общерусской культуры, ее органическим продолжением и развитием» («Знамя», 1970, № 11), и которое, он помнит, употребляла его мать, уроженка Запорожья: «Чого крычыш, як нысамовытый!». «Хотелось бы знать поточнее смысл этого не очень распространенного слова, с такой явно необычной географией: Украина и — Сибирь!» — заключает свое письмо И. И. Евтушенко.

Прилагательного *самовитый* мы действительно не найдем ни в одном словаре русского литературного языка, потому что оно не относится к числу общеизвестных и общеупотребительных. Но оно встречается в юго-западной группе русских говоров, в говорах Украины и Белоруссии (его можно, видимо, встретить и в Сибири, русское население которой составили выходцы из самых различных областей). Слово засвидетельствовано, например, в «Смоленском областном словаре» В. Н. Добровольского (Смоленск, 1914):

*самовитый* — самостоятельный, разумный. Его найдем в «Словаре белорусского наречия» И. И. Носовича (СПб., 1870): *самовитый* — настоящий, самый лучший.

Иногда прилагательное *самовитый* в качестве особого стилистического средства используется современными писателями и журналистами. В картотеках Словарного сектора Института языковедения АН СССР (Ленинград) засвидетельствованы, помимо приведенного И. И. Евтушенко, следующие употребления: «Андрей смотрел ему [Василию] вслед: — Хорош! А пока не наберется опыта, глаз с него спускать нельзя. Чересчур „самовит“, властен, горяч» (Николаева. Жатва); «Слово — самовитое, кондовое, подчас подчиняющее себе все и вся в некоторых произведениях, не является для писателей самоцелью» («Знамя», 1970, № 3); «Валера подрастал. В седьмом классе ездил в пионерский лагерь и привез оттуда грамоту чемпиона по планерам, уверенный тогда был, самовитый. Повесил в коридоре бумагу: „Ребята, я буду вами руководить“» («Комсомольская правда», 11 июня 1970).

В приведенных цитатах *самовитый* означает 'самостоятельный, уверенный в себе' (там, где употребляется по отношению к человеку) и 'имеющий самостоятельную ценность, значение' (при употреблении по отношению к неодушевленным предметам, явлениям).

Подобно многим областным словам прилагательное *самовитый* не имеет единого, общего значения, его значение варьируется по отдельным говорам (ср., например, определения этого слова в словарях Добровольского и Носовича). Однако общая основа значения, по всей видимости, есть, и она так или иначе проявляется в отдельных частных значениях, присущих тем или иным говорам. Прилагательное *самовитый* образовано с помощью суффикса *-овит-*, значение которого формулируется в грамматике русского языка как «обладающий в большой степени тем, что названо мотивирующим словом», например: даровитый, плодовитый, сановитый и под. («Грамматика современного русского литературного языка». М., «Наука», 1970, стр. 197). В нашем случае мотивирующим (производящим) словом является местоимение *сам*. *Самовитый* — отличающийся большой степенью «самости» (ср. в Словаре В. Даля: *самость* — самоличность, подлинность; самостоятельность и стойкость).

В употреблении матери И. И. Евтушенко также проявилось одно из диалектных значений слова *самовитый* (в данном случае — диалекта украинского языка) — 'разумный'; *нысамовытый* — 'неразумный, несмышленный, глупый'.

И. Н. Шмелева



## ИМЕНИЕ

Сужение значения слова — один из общих законов исторической семасиологии (науки, изучающей изменения значений слов). Сущность этого явления заключается в том, что в процессе своего развития слово постепенно переходит от обозначения широкого круга предметов или явлений к более узкому, его лексическое значение становится более конкретным, специализированным, то есть происходит сужение значения.

Существительное *имение* было широко распространено в древнерусском языке. Оно употреблялось с общим значением 'имущество' в разнообразных по жанру и содержанию памятниках. Сравните в «Материалах для Словаря древнерусского языка» 1891 года И. И. Срезневского: «Иди, продаждь имѣниѣ твоѣ и даждь нищимъ» (Остромирово евангелие. XI век); «Аще кто оумреть не оурадивъ своего имѣнья, ци и своихъ не имать, да возвратитъ имѣнье къ малымъ ближикамъ в Русь» (Договор Олега с греками по Ипатьевскому списку. 911). Существительное *имение* не претерпевает каких-либо смысловых изменений и в более поздние периоды развития языка с XV по XVII века.

Рассмотрим подробнее употребление этого слова в XVIII веке. Изучение семантической (смысловой) истории существительного *имение* дает возможность проследить определенные тенденции в развитии лексической системы этого периода — периода складывания общенациональных языковых норм. В XVIII веке, как и в предшествующие периоды, слово *имение* имело значение 'имущество, то, что находится во владении, распоряжении кого-чего-либо'; 'то, что принадлежит кому, чему-либо'. Так, в «Словаре Академии Российской» (1789) значение этого слова определяется как 'пожитки, достаток, имущество, стяжание, состоящее в деньгах, в вещах, в землях и проч'. Оно обозначало, таким образом, всю совокупность материальных ценностей. Следует отметить, что в языке XVIII века с обозначением понятия 'имущество', кроме существительного *имение*, был связан еще целый ряд слов.

Аналогичное лексическое значение имели слова: *собственность, состояние, имущество, достаток, издивение, стяжание, животы, вещи, добро, пожитки*. Все они со словом *имение* составляли один синонимический ряд. [Более подробно об употреблении членов данного ряда и их смысловых различиях смотрите в статье К. П. Смолиной «Синонимический ряд как объект исторической лексикологии». («Известия АН СССР, ОЛЯ», 1973, вып. I)].

Но основным и наиболее активным членом этого синонимического ряда было существительное *имение*. Вот некоторые иллюстрации его употребления в деловых документах этого времени: «Штрафовать лишением чести, или всего *имения*, или ссылкою в галерную работу, по важности преступления» (Генеральный регламент или устав. 1720); «Имение их беглых отобрав, отдавать в иск тем людям, чьи же беглые» (Указ 13 мая 1754); «Роскошь в государстве так усилилась, что многие не стыдятся проматывать все свое *имение*» (Материалы комиссии Нового Уложения. 1767). Сравните в публицистических произведениях: «Не государь, но закон может у гражданина отнять *имение*, честь, вольность или жизнь» (А. Н. Радищев. Опыт о законодательстве); «Ежели кто расточает свое *имение* неумеренно, то сие качество называется мотовство» (Козельский. Философические предложения... 1768).

Слово *имение* одинаково широко использовалось как в произведениях высокого, так и низкого жанров. Сравните у А. П. Сумарокова: «Гнусный обманщик, приключивший чьей-нибудь поношение чести или ущерб *имению*: из

числа честных людей исключен бытьи должен» (Слово II); «[Кашей] Именеie плюнуть, да мне жаль тебя, чтобы ты не посадила уroda себе на шею и не заела бы своего века» (Лихоимед).

Итак, существительное *имение* в обобщенном значении 'имущество' в XVIII веке, как и в более ранние периоды развития языка, было необычайно употребительно и бытовало в самых разнообразных речевых сферах.

Обобщенность в значении слова *имение* часто подчеркивается сочетающимися с ним прилагательными. Эти сочетания могут выражать количественную и качественную характеристику. В сочетаниях, выражающих количественную характеристику, наиболее распространенными являются прилагательные: *малый, небольшой, посредственный, немалый, довольный, нарочитый* (в языке XVIII века это прилагательное имело значение 'довольно большой'), *знатный, великий, многочисленный, безмерный*. Сочетания, выражающие качественную характеристику (способ получения или отчуждения имущества), строятся с такими определениями как *нажитый, приобретенный, пограбленный (ограбленный, разграбленный и т. п.), захваченный, описной*. Сравните примеры: «Был я также и благотворителен: малое имение мое охотно разделял с неимущими» (Фонвизин. Недоросль); «Всею своею частью знатного имения безропотно жертвовал мне на помощь» (Лопухин. Записки); «Новые твои сродники все твое без совести нажитое имение проматывают» («Трутень», 1769).

Для существительного *имение* характерны также сочетания с прилагательными, имеющими общее значение принадлежности. Регулярны в текстах этого периода сочетания с такими прилагательными этой семантической группы, как *городской, казенный, партикулярный, гражданский, государственный, национальный*, смысл которых подчеркивается не только указанием на принадлежность, но и общим значением свойства, качества. Эти сочетания также указывают на обобщенность в значении этого слова.

Однако слово *имение*, кроме общего значения 'имущество', выступало и в более конкретных употреблениях: 1) 'движимое имущество', 'домашние вещи'. Сравните: «Всякое имение, пограбя, снесли в обоз свой» (Материалы Пугачевщины); «...Тогда сии жители все свое имение, сколько силы и разума их достает, *прятали*» (там же); «У сих бедных жителей по клетям имение их разберут»

(там же); «Никто не прятал своего имущества в сундуки» (Козельский. Из примечаний к переводу Голберга). Глаголы *носить, снести, прятать, разобрать* указывают на конкретизацию в значении слова — это «вещи», то, что может быть перемещено, то, что «движимо». 2) Оно могло употребляться, синонимически сближаясь со словом *собственность*, в специализированном юридическом смысле: «право собственности». Вот две иллюстрации из статьи А. Н. Радищева «Опыт о законодательстве»: «Право собственности или имущества простираются на все вещи, кои могут быть в нашем владении».

Продолжая толковать слово *имение* как совокупность материальных ценностей, составители Словаря 1847 года соотносят его значение более точно, определеннее, «терминологичнее» с правом принадлежности, владения, собственности: «Именье. Деньги, вещи и земли, принадлежащие одному или нескольким лицам одного семейства». Определенные юридические понятия обозначались и такими терминологизированными сочетаниями со словом *имение*, как *родовое имение, частное имение, наследственное имение, движимое имение, недвижимое имение*, постоянно встречающимися в источниках делового и публицистического характера того времени. Но расчленение первоначально общего значения, связанного с обозначением всей совокупности материальных ценностей, у слова *имение* особенно зримо выступает к концу века и связывается с выделением в нем новых смысловых ограничений. Здесь можно выделить два момента.

1) Слово *имение* начинает ассоциироваться только с недвижимой собственностью. Так, например, в Лексиконе 1762 года существительное *имение* переводится французским словом *les biens*, которое в свою очередь на русский язык в Лексиконе С. С. Волчкова (1773) переводится словами: «деревни, двóры, недвижимое имение». С. Е. Десницкий в трактате «Представление о учреждении законодательной, судительной и наказательной власти в Российской империи» поясняет: «Здесь имением называется единственно имение недвижимое».

2) В значении слова *имение* зарождается новый смысловой элемент, связанный с последующим ограничением в значении этого существительного: *имение* — это земельное владение, поместье. И в этом своем употреблении существительное *имение* становится синонимической параллелью к существительному *маетность* (пришедшему в рус-

ский из польского через украинский), регулярно употреблявшимся в этом значении в языке XVIII века. К концу века употребление слова *маетность* затухает (смотрите об этом: Ю. С. Сорокин. Процессы формирования лексики русского литературного языка. М. — Л., 1966). Сравните отрывок, где существительное *имение* непосредственно соотнесено со словом *маетность* и употребляется с ним в одном контексте: «Установлено было, чтоб сын имел собственность и полное владение в тех маетностях, которые он получал в подарок от своей матери, имея от матерних сродственников, равномерно как и в тех имениях, которые ему доставались при женитьбе и чтоб отец мог только пользоваться одними доходами от таких маетностей и имений сыновних» (Десницкий. Слово 1768). Сравните также: «... за дружеское обещание ваше исходатайствовать мне свидетельство о Тамбовском имении жены моей приношу вам благодарение» (Козодавлев. Письмо Г. Р. Державину, 23 ноября 1786).

Итак, слово *имение* в конце XVIII века, удерживая за собой обобщенное значение 'имущество', широко употреблявшееся на всем протяжении века, приобретает новое более конкретное значение — 'земельное владение, поместье'.

Параллельное употребление этих двух значений сохраняется и в первой половине XIX века. Например у Пушкина: «Твое имение сполна В казну поступит войсковую» (Полтава); «Несколько молодых людей, по большей части военных, проигрывали свое имение...» (Надинька); «В одной из отдаленных наших губерний находилось имение Ивана Петровича Берестова» (Барышня-крестьянка). Однако, по-видимому, именно в этот период у слова *имение* происходит перераспределение значений. Основным, наиболее употребительным, становится значение 'земельное владение, поместье'. Показательны в этом плане данные «Словаря языка А. С. Пушкина» в 4-х томах (М., 1956): «В языке А. С. Пушкина слово *имение* в значении 'имущество' встречается только 13 раз (из 92 случаев употребления) и 79 раз в значении 'земельное владение, поместье'». В этом значении оно широко употреблялось на всем протяжении XIX века: «Отцу Пантелея Еременча досталось имение уже разоренное; он в свою очередь тоже сильно „пожуировал“ и, умирая, оставил единственному своему наследнику Пантелею заложенное сельцо Бессоново» (Тургенев. Чертопханов и Недолюкин); «[Матушка]

успела приобрести значительное имение. Это было большое торговое село Заболотье, заключающее в себе с деревнями более трех тысяч душ» (Салтыков-Щедрин. Пошехонская старина); «Мое крымское имение Кучукой теперь летом, как пишут, изумительно» (Чехов. Письма О. Л. Книппер, 1 июля 1899).

После Октябрьской революции, эпохи коренных социальных изменений, когда с новым общественным строем ушло в прошлое помещичье землевладение, слово *имение*, значение которого непосредственно соотнесено с этим видом частной собственности, переходит в пассивный состав словаря, превращается в историзм. Оно появляется на страницах нашей печати лишь в тех случаях, когда речь идет о капиталистической частной земельной собственности. Сравните: «Прежние хозяева уже получили более 1000 ранее экспроприированных имений» («Правда», 7 мая 1974). Значение же 'имущество' у существительного *имение*, как отмечают толковые словари (Толковый словарь Д. Н. Ушакова, М., 1934; «Словарь русского языка» С. И. Ожегова, М., 1972), является устаревшим. Однако совсем оно не забыто и продолжает существовать в текстах художественной литературы. Сравните: у М. Горького: «У тебя всего-навсего имения было кафтан да топор» (Злодеи). Активно это значение слова *имение* в современных русских говорах: «Только *имение* вытащить успела» (Урал.); «У ей всеб-то именья было один сундук» (Костр.) (Примеры из картотеки Словаря русских народных говоров). «Пбмяр, именья оставял, там на дочь ли на сына... Дбчири именья отказала, дочь и поминать. Матирию нада бис фсябв взять, а ани [дети] с именьями ни бяруть» (Словарь современного русского народного говора. М., 1969).

Итак, анализ исторического развития значения слова *имение* показал, что смысловая структура этого слова не оставалась неизменной в истории его употребления. Эволюция значения существительного *имение* характеризовалась движением от общего к конкретному: от обобщенного, широкого значения 'имущество' к конкретному, в известном смысле специализированному его осмыслению, связанному с обозначением определенного вида собственности. Этот тип смыслового изменения слова — сужение значения — один из общих законов семантических изменений, происходящих в языке.

К. П. СМОЛИНА

Рисунок Б. Захарова

# О РОЗОВЫХ, ЗЕЛЕННЫХ И ГОЛУБЫХ ЛОШАДЯХ



Сразу же следует оговориться: здесь имеются в виду не условные образные цветовые символы (как, например, в картине К. Петрова-Водкина «Купание красного коня»), а реальные, встречающиеся в природе масти.

В таком случае, казалось бы, можно смело утверждать, что розовых, зеленых и голубых лошадей в природе не бывает: их ведь никто, не исключая и коневодов, не видел. Не случайно в таком духе и высказывается Н. В. Гоголь, когда, характеризуя Ноздрева, пишет, что тот, бывало, «наврет совершенно без всякой нужды: вдруг расскажет, что у него была лошадь какой-нибудь голубой или розовой шерсти, и тому подобную чепуху, так что слушающие наконец все отходят, произнесши: „Ну, брат, ты, кажется, уж начал пули лить“» (Мертвые души).

Однако не нужно торопиться с выводами. Так, если чистой розовой масти лошадей никто не отмечал, то *розовый* как основной оттенок одной сложной масти упоминает, например, Ф. М. Достоевский: «...на паре старых сиво-розовых лошадей подъехали и Федор Павлович с сыном своим Иваном...» (Братья Карамазовы).

*Зеленая лошадь* как своеобразный междометийный фразеологизм-обращение (реже приложение) еще недавно был известен в речи русских моряков Крайнего Севера: «— Аристарх Епимахович, — сказал пассажир с трубкой, — этот молодой товарищ едет к нам в Заполярье, чтобы поступить во флот. Я обещал ему показать настоящего северного моряка. Да познакомься же с ним, зеленая лошадь!» (А. Воеводин и Е. Рысс. Буря. М. — Л., 1946). Это выражение употребляется в повести преимущественно как обращение

к пожилым, поседевшим людям и возникло, вероятно, из древнего славянского названия *конь зелен*, то есть 'серовато-белый', сохранившегося в старинных сербских народных песнях (А. А. Потебня. О некоторых символах в славянской народной поэзии. Харьков, 1860; см. там же сербское *зелен соко* 'сивый, ясный сокол'), сравните хорватское название *zèlènko* 'конь белой масти', отмеченное в старом словаре (F. Iveković i I. Broz. Rječnik hrvatskoga jezika. Svezak II. V Zagrebu, 1901), а также сербский термин *зеленко* 'эпитет коня (белого, с белыми яблоками)' (П. Лавровский. Сербско-русский словарь. СПб., 1870), современное сербскохорватское *zèlènko* 'серая лошадь (в яблоках)' (Сербскохорватско-русский словарь. Составил И. И. Толстой. М., 1970) и, наконец, болгарский эпитет *сив-зелен* (о коне, как цветообозначение). (А. Н. Веселовский. Историческая поэтика. Л., 1940).

Таково же значение корня *зелен* в русских выражениях типа *лицо позеленело*, то есть 'побледнело, стало серым', ср. македонское *зелен во лицето* 'бледен, землист лицом' (Речник на македонски от јазик. I. Скопје, 1961), хотя происхождение семантики этого корня здесь может быть и иным, не таким, как при обозначении масти.

Из руководств по коневодству известно, что лошади к старости седеют, становясь бело-сероватыми, так что русское северное выражение *зеленая лошадь* первоначально могло означать 'белый, светлый (и седой, то есть старый) конь', а потом стало употребляться фигурально, применительно к пожилому и даже молодому человеку, став своеобразным синонимом таких обращений, как *старина*. Черты языкового и культурно-этнографического сходства между русскими северянами и южными славянами (в частности, сербами и хорватами) науке известны, они подчеркивались, в частности, совсем недавно в одном из публичных выступлений Л. П. Жуковской [Стенограмма заседания Ученого Совета Института русского языка АН СССР (7 июня 1973)], в диссертации В. Ф. Конновой «Славянские лексико-семантические изоглоссы и типы изменений значений слов»: из четырех приложенных к ней карт три показывают лексическую общность русского Севера и крайнего Юго-Запада славянской территории.

В газете «Труд» от 22 марта 1974 года за подписью М. Спарин в заметке «Голубые кони» сообщалась сенсация: «Оказывается, фантастические герои сказок — „небесные кони“, поражающие чистой голубой мастью, в действительности существовали». Такой вывод сделал, по сообщению М. Спарипа, ленинградский искусствовед, сотрудник Государственного русского музея Н. В. Мальцев, опирающийся в своих заключениях главным образом на памятники старорусской письменности — летописи, исто-

рические документы: «Голубые кони как самая большая ценность упоминаются в духовных заветах князей Глинских. В ямской книге Вышнего Волочка за 1556 год среди лучших 30 коней есть и „коть голуб“. Но поездка на нем обошлась бы ездуку раз в 15 дорожке, чем на самых редкостных конях — игреневом или мухортом. Об этом свидетельствует старинный ценник».

В этом утверждении, к сожалению, не учитывается, что древнее *голуб(ыи)* первоначально означало вовсе не небесный цвет, а серовато-сизый, по окраске сизого голубя *Columbia livia*, самого распространенного в местах обитания славянских племен и на территории нашей страны. Как показал чешский лингвист В. Махек, славяне нередко обозначали цвет шерсти животных по окраске оперения птиц; его примеры: *вороной* (др.-русск. *ворон(ыи)*), польск. *wrony*, болгарск. *вран* и т. д.) от названия ворона; *голубой* (др.-русск. *голуб(ыи)*), польск. *gołębi*, словацк. *holubi*, сербохорватск., *голубаст* и т. д.) — от названия голубя; *рябой* — от названия рябчика. О древнем значении прилагательного *голубой* 'пепельно-серый, сизый' и последующем изменении семантики этого слова к современной — 'небесно-голубой' — пишет также Л. А. Булаховский в статье «Деэтимологизация в русском языке» (Труды Института русского языка АН СССР, том I, М.—Л., 1949).

Прилагательное *голубой*, употребляясь в новом значении применительно к подавляющему большинству предметов и явлений, долго сохраняло и отчасти до сих пор сохраняет свой первоначальный смысл в тех случаях, когда упоминается окраска шерсти животных: лошадей, песцов, кроликов. Специалистам и поныне известны голубые (дымчатые) песцы, голубые кролики — голубовато-мышинной окраски (О. Грюнберг. Юным кролиководам. М., 1953); голубые лошади — «пепельного цвета, сходного с цветом мыши» (Профессор В. А. Шадрин. Коневодство. М.—Л., 1930; «Словарь современного русского литературного языка», т. III), существуют и народные обозначения типа *голубы кóрушки* 'серо-дымчатые с белым отливом' (Словарь русских говоров Среднего Урала; Картотека «Словаря архангельских говоров» при МГУ); *голубые коровы* 'коровы пепельно-серой масти' (Словарь русских народных говоров. Вып. 6, Л., 1970).

Это старое значение, как видно, сохранилось лишь по отношению к живым существам, каков и сам голубь, тогда как по отношению к неодушевленным предметам слово фигурирует с новой семантикой. Иначе говоря, здесь сыграла свою роль, по-видимому, психологическая ассоциация.

Что касается толкования *голубой конь* 'лошадь цвета неба', то оно напрасно выдвигается М. Спариним вслед за Н. В. Мальцевым как новое: такое предположение высказывал археолог

А. В. Арциховский в комментарии к Новгородской берестяной грамоте № 142 (вторая половина XIII века), где упоминался *конь голубый*; не нова и аргументация М. Спарина — Н. Мальцева: в своем выводе А. В. Арциховский в особенности опирается на редкость названия *голубой* (о коне).

Авторы такого толкования никак не соотносят его с хорошо известным, хотя и устаревшим, народным и специальным коневодческим термином *голубая (лошадь)* 'мышастая, пепельно-серая, сизая', причем следует подчеркнуть ценность такой масти: «Голубая или мышастая масть лошадей... Это довольно редкая и ценная масть» (В. Бурнашев. Опыт терминологического словаря сельского хозяйства, фабричности, промыслов и быта народного. СПб., 1843).

В специальных работах (В. А. Шадрин. Коневодство) отмечается, что голубая масть лошади может иногда иметь оттенок желтизны (при общей мышастой окраске).

Об употреблении в русском быту прилагательного *голубой* в значении 'мышастый' красноречиво говорит загадка, записанная в Олонецкой губернии: «Конек голубой: вести на базар — не купят. (Мышь)» (Д. Н. Садовников. Загадки русского народа. СПб., 1875). Сравните: «*Голубой*. Иногда то же, что серый» (А. Н. Островский. Материалы для словаря русского народного языка. — Полное собрание сочинений, т. XIII, М., 1952). На родине М. В. Ломоносова в речи крестьян *голубко* — 'кличка сизым лошадям'. При этом сизо-серая голубая масть могла быть и более светлой (особая порода сибирских лошадей сиреневого оттенка), и более темной: «*голубой* — о лошади. Иссиня-черного цвета» (Картотека «Словаря архангельских говоров» при МГУ).

Упоминания о голубых конях, по мнению М. Спарина, «начинаются с XIII века, а с конца XVI столетия так же таинственно, как и появились, удивительные животные исчезают».

Вопреки такому утверждению, это название и в течение XVII века широко употреблялось. Так, в «Таможенных книгах Московского государства XVII века» (т. I—III. М.—Л., 1950—51) мастеобозначение лошади *голуб(ой, ый)* встречается 35 раз (например: «выменил кобылу голубу», т. I), тогда как *пег(ой, ий)* — 11 раз, *сер(ый)* — 23 раза, *карь (карий)* и *кар* — 12 раз, *солов(ой)* — 7 раз, *булан(ый)* — 6 раз, *бел(ый)* — 5 раз, *чал(ый)* — 8 раз, *игрен(ий)* — 3 раза, *сив(ый)* — 6 раз, *мухорт(ый)* — 1 раз.

Известно название *голубой* 'пепельно-серый' применительно к лошади и в памятниках XVIII—XIX веков, а у специалистов-коневодов и в народных говорах — также в XX веке.

И все же с XVIII столетия активность этого термина начинает падать: слово заменяется синонимом, заимствованным из

польского (или украинского) языка,— словом *мышастый*; одно из первых употреблений его отмечено в путивльском памятнике 1677 года: «четвера меренковъ... адин мышастъ» (С. И. Котков. Очерки по лексике южновеликорусской письменности XVI—XVIII веков. М., 1970).

Очень наглядно устарелость семантики *голубой* 'мышастый' в современном литературном языке выявляется из значения этого названия 'небесно-голубой' в рассказе Я. Мустафина «Голубая лошадь», написанном по-русски: «белая кобылица [названная героем рассказа *Голубой*.— Г. О.] гордо расхаживала... Омытая дождем, кобылица, казалось, была белее снега. Она даже чуть голубилась. Это, видимо, оттого, что земля курилась и брезжил рассвет».

Причина вытеснения термина *голубой* 'мышастый' прилагательным *мышастый* связана с тем давлением, которое оказало общее значение *голубой* 'цвета неба' на частное употребление этого слова как обозначения масти.

Исчезновение коневодческого названия *голубой* М. Спарин напрасно принял за исчезновение самой масти. Трудно даже предположить, будто в XIX—XX веках природные условия так изменились, что привели к повсеместному вымиранию одной определенной масти животных.

Г. Ф. ОДИНЦОВ

Рисунок Б. Захарова

---

## ПРАКТИКУМ ПО СТИЛИСТИКЕ

Обратите внимание на рифмующиеся части стиховых строк, выделите случаи появления ффрикативного звука [γ] на месте общелитературного *к*, которое должно было появиться в результате оглушения *г* на конце слова.

Наши скорби, слезы, вздох  
В ней хранятся, как залог, —  
И искупаются сторицей!

Тютчев. Песнь радости (из Шиллера)  
И ты, как я, в печальной гребе,  
Забыв, кто друг тебе и враг,  
О розовом тоскуешь небе  
И голубиных небесах.

С. Есенин. За темной далью перелесид...

Ответ см. в следующем номере

Практикум по стилистике подготовила Л. И. Еремина

---

# ЛИХОЙ



Лово *лихой* было весьма употребительно в древнерусском языке и имело разветвленную систему значений: «лишенный чего-либо», «чрезмерный, излишний», «негодный, дурной, плохой»; «дерзкий»; «злой, коварный, жестокий»; «быстрый, ловкий, умелый»; «превосходный». Некоторые из них прямо противоположны друг другу, хотя и принадлежат одному слову. Они возникли, по-видимому, из первоначально неопределенного значения древнего корня *лих-*, выражавшего представление об отклоне-

нении от нормального количества и тесно связанного с понятиями «чрезмерности, излишества» и «ущербности, недостаточности». Многочисленность слов с корнем *лих-* (в том числе и сложных с *лихо-*) и разнообразие их значений в древнерусском языке отражают сложившиеся к этому времени представления о качественных изменениях «вещей» в связи с количественными. Одни слова этой корневой группы были связаны с понятием «лишенности»: *лиховати* «лишать», *лиховатися* «лишаться, терпеть нужду», другие выражали понятие «чрезмерности», «излишества»: *лихва* «процент», *лихование* «излишество», *лихновица* «избыток», *лихоглаголение* «многословие», *лихопитие* «пьянство», *лихоядение* «обжорство», *лихо* «много, очень, слишком» и другие. Многие слова имели и вторичные, переносные значения, причем часто с закрепленной за ними положительной или отрицательной эмоциональной оценкой: *лиховати* «давать в рост» и «обижать», *лихование* «излишество» и «преступление», *лихнути* «превзойти» и «преступить закон, согрешить», *лиховати* «лишать» и «обидеть», *лихновица* «избыток» и «превосходство, преимущество», но и «распутство», *лихновець* «дьявол».

Особой сложностью отличалась система значений прилагательного *лихой*. В памятниках письменности XI—XIV веков оно могло означать «лишенный чего-либо»: Зъницу бо не имы лихъ

есть свѣта (Пандект Антиоха, XI век). Подобные примеры единичны, а начиная с XV века вообще не встречаются.

С самой древней поры и до XVI века включительно прилагательное *лихой* употреблялось в значении 'чрезмерный, имеющийся в избытке', главным образом, в текстах религиозно-правовучительного содержания: «Невоздержанье бо и лихо требованье не в доволъ требующимъ, зло бо питатися самому, егда инѣмъ алчущимъ... срамъ есть все излишнее и въ словесѣхъ же и во всякой вещи» (Слова Григория Богослова, XIV век).

В древнерусских письменных источниках мы находим много употреблений слова *лихой* в значении 'дурной, скверный, плохой'. Еще в достаточной мере не расчлененное, оно фиксируется древнерусскими памятниками самого раннего периода: «Аще бы лихъ законъ греческий, то не бы баба твоя прияла, Ольга» (Повесть временных лет, под 987 годом, по Лаврентьевскому списку, 1377).

В сочетании с разными существительными слово *лихой* выступало каждый раз оригинально-неповторимо, так как его почти универсальное значение 'дурной, плохой' принимало в этих словосочетаниях разные смысловые оттенки: *платъ лихъ* 'дырявый'; *ледъ лихъ* 'негодный'; *лихое перо* 'плохое, негодное к употреблению'; *лихая образа* 'безобразный, некрасивый лицом'; *лихие деньги* 'фальшивые или неполноценные, «резаные»'; *обычай лихъ* 'дурная привычка'; *лихое слово* 'дерзкое, вызывающее' или 'порочащее кого-либо'; *лихая вѣсть* 'печальная, тягостная'; *лихая болезнь* 'тяжкая, мучительная', 'смертельная'; *лихие мѣста* 'гибельные'; *лихое коренье, зелье, трава* 'ядовитые'; *лихое дѣло* 'дурное, несправедливое, бесчестное' и 'преступление'; *лихая баба* 'колдунья'; *лихой человекъ* 'с дурным глазом' и т. п.

Наиболее часто прилагательное *лихой* употреблялось с существительными, обозначающими лицо или группу лиц. В этих словосочетаниях оно выступало как в нерасчлененно-абстрактном значении 'дурной, плохой', так и в более конкретном варианте 'злой, жестокий, коварный'. Особенно популярно было словосочетание *лихие люди*. *Лихими людьми* в XV—XVII веках называли как уголовных преступников («татей», «убийц», «разбойников», «зажигальщиков», «винопродавцев», «беглецов» и т. п.), так и преступников неуголовных, нарушителей морального кодекса, а также просто «оговоренных», «ославленных» кем-то или подозреваемых в «ликих дѣлах».

Итак, в древнерусских памятниках письменности слово *лихой* употреблялось, главным образом, в значениях, имевших отрицательное эмоциональное содержание. Здесь оно было синонимично словам *злой, лютый, дурной, плохой, худой* и т. п. и антиони-

мично словам *благий* и *добрый*. Наиболее ярко была выражена близость слов *лихой*, *лютый* и *злой*: у них совпадало большинство значений, они могли сочетаться с одинаковыми существительными, в аналогичных контекстах способны были заменять друг друга. Кроме того, у них было общее семантическое свойство — способность выражать высокую степень проявления обозначаемого признака, что делало их наиболее эмоционально и экспрессивно выразительными среди прочих слов того же синонимического ряда. Об этом свидетельствует их активное употребление в языке XI—XVII веков.

Однако, кроме «отрицательных» значений, слово *лихой* уже в самую раннюю пору своей истории имело значения, содержащие положительную эмоциональную оценку: «превосходный, отличный», «ловкий, умелый», «быстрый, стремительный». Первоначальным среди «положительных» значений, по-видимому, надо считать «превосходный, отличный». Обладание какими-либо качествами в большей мере, чем это свойственно было другим, могло поставить обладателя этих качеств в преимущественное положение перед другими, иногда в положение исключительное. «Исключительность» могла расцениваться носителями языка как явление положительное, как «превосходство», что могло явиться результатом сопоставительного анализа, когда меньшее, но лучшее, высшее противопоставлялось большему, но худшему, низшему (например, сильные, которых мало, — слабым, которых больше; искусные, которых мало, — неискусным или обыкновенным, которых больше; смелые, которых мало, — робким или обыкновенным, которых больше и т. п.). Сравните также с этимологией слов *изрядный* и *изящный*, близких слову *лихой* семантически: *изрядный* «превосходный», «умелый» происходит от *из ряда (вон)*; *изящный* «знатный», «превосходный», «умелый» от *за и ять во вязать*.

Значения, выражающие понятие «превосходства», мы находим в древнерусском языке у ряда слов с корнем *лих-*. Это *лихнути* «превозмогнуть», *лихновица* «превосходство, преимущество» и *лиховьница* «преимущество». Любопытно, что существительные *лихновица* и *лиховьница* употреблялись в сочетании с прилагательными *дѣльная* и *естьстьвѣная*, то есть речь шла о преимуществе, данном человеку природою и позволяющем проявить себя наилучшим образом также и в деле. О том же свидетельствует и употребление прилагательного *лихой*: «Да рука та моя любо лиха и ты так не сумѣеш написат (и) и ты не пиш(и)». В этой краткой записи XIV века, сделанной на полях рукописи «Толковання Олимпиодора Александрийского» и не имеющей отношения к содержанию этой рукописи, писец, «похваляясь» перед кем-то, гово-

рит о своей необыкновенной способности превосходно (возможно, очень быстро и красиво) писать.

Другой пример — XVII века. В «Книге охотничей регул или порядок о содержании псовой охоты» прилагательное *лихой* употребляется как эпитет борзой собаки: «О не самой статной собаке, борзой, да о приметистой, которую должно назвать резвой или лихой». Эту же собаку далее автор называет «мастером», «лучшей» среди прочих.

В знаменитом памятнике XVII века «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное», мы встречаем слово *лихой* в составе именного сказуемого с примыкающим инфинитивом, где оно значит 'весьма умелый' и равно таким просторечным формам, как *силён, здоров, горазд*: «А въ дому моемъ въ то время учинилося нестройство: протопопица съ домочадицею Фетиниею побранились, дьяволь ссорилъ ни за што. И я пришелъ; не утерпя, билъ ихъ обѣихъ и оскорбилъ гораздо в печали своей. Да и всегда такой я окаянной сердить — дратца лихой».

Однако употребление слов с корнем *лих-* в «положительных» значениях для древнерусского письменного языка не характерно. Можно предполагать, что «отрицательные» и «положительные» сферы функционирования значений слова *лихой* были разными: «отрицательные» — были свойственны письменному языку, а «положительные» — диалектно-разговорной речи.

Сочетаемость слова *лихой* в его положительном варианте была строго обусловлена его значением, отражающим внеязыковые моменты: «умелый», «ловкий» можно было говорить только о человеке или о животных, служивших человеку, и с помощью которых сам человек мог достичь какого-либо превосходства над другими — о лошади (верховой), о собаке (охотничьей) и т. п. Но так как *лихой* в сочетании с существительными, обозначающими лиц, в письменном языке часто значило 'злой, жестокий', а словосочетанием *лихие люди* называли уголовных преступников, то употребление слова *лихой* в значении 'умелый, искусный' и 'превосходный, отличный' в этих словосочетаниях в письменном языке было невозможно: они взаимно исключали друг друга. Их сосуществование было возможно лишь в различных языковых сферах, только в этом случае они не могли вызвать двусмысленности.

Действительно, слово *лихой* в древнерусском письменном языке не входит в излюбленный набор слов, используемых для «этикетных» характеристик различных положительных персонажей, тогда как слова *гораздый, изящный, изрядный, искусный, нарочитый*, синонимичные слову *лихой* в значениях 'умелый, искусный' и 'превосходный, замечательный', широко применя-

лись в этом случае, наряду со словами *добрый, честный, храбрый* и т. п.

Чрезвычайно важная роль в осмыслении качественных слов, подобных слову *лихой*, принадлежит внеязыковой ситуации; оценка качеств субъекта происходит в зависимости от сферы и характера его деятельности, а также от морально-этических представлений той социально-языковой группы, которая эту деятельность оценивает.

Ситуация войны («брани»), когда воины убивали «за благовѣрие», убивали «невѣрных» или «измѣнниковъ вѣрѣ», была именно той ситуацией, где такие качества, как смелость, дерзость, бесстрашие, решительность, считавшиеся в другой ситуации отрицательными и осуждавшимися по религиозно-этическим соображениям, признавались благородными, достойными великих похвал.

Когда у слова *лихой* появилось значение «смелый, отважный», сказать трудно. Оно могло появиться в результате переосмысления значения «чересчур смелый, дерзкий» в соответствующей ситуации, возможно, здесь имела место и «поддержка» со стороны других положительных значений этого слова: «искусный, умелый»; «быстрый, стремительный»; «превосходный, отличный».

В тексте Ипатьевской летописи, год записи 1287, употребляется наречие *лихо*, которое И. И. Срезневский в «Материалах для словаря древнерусского языка» (СПб., 1895) толкует как «отважно, подвергаясь опасности». Толкование это кажется не очень удачным, так как не отражает отрицательного эмоционального смысла этого слова в контексте: «И приѣха Юрьи к городу, горожани же не подаша ему города, но пристравахуться крѣпко на бои, Юрьи же позна леть ихъ, онѣм же молящимъ: княже, лихо ѣздишь, рать с тобою мала, приедуть ляховѣ мнози, соромъ ти будетъ великъ». Употреблено ли здесь наречие *лихо* «смело, отважно» в ироническом смысле или толковать его следует, как «слишком смело, дерзко, не так, как подобает, худо, плохо», — сказать трудно. И все же последнее кажется более убедительным, так как более соответствует как ситуации, так и системе значений прилагательного *лихой* в древнерусском письменном языке.

По-видимому, значение «смелый, отважный» у слова *лихой* не такое древнее, как принято считать. Возникло оно, по-видимому, в XVI—XVII веках, возможно в среде «вольных гулящих людей», людей «вне закона», «лихихъ» по определению «Судебников» и «Уложения». Переосмысление слова *лихой* именно в данной социальной среде кажется наиболее вероятным. Вольный казак — это, с одной стороны, «воръ», преступник, с другой стороны — превосходный воин, на редкость отважный, очень дерзкий, легко идущий на риск, он же — основной борец с «невѣрными», татарами

и турками, защитник пограничных рубежей Русского государства в XVI—XVII веках. Казаки, безусловно, были удальцами, предпринимавшими «все на счастье», на удачу, «без дальнего размышления о следствиях своих поступков» (Словарь Академии Российской. СПб., 1822). *Лихой* для таких удальцов был самым подходящим эпитетом (сравните с характерной народной поговоркой: «Мастера искать на кабаке, а удалаго в тюрьме» — XVIII век). Надо полагать, что сами себя они воспринимали, безусловно, как самых отважных, самых смелых и решительных, что в сочетании с некоторыми профессиональными навыками: быстротой реакции, хладнокровием, меткостью и т. п. — действительно выделяло их как людей исключительных, даже среди военных.

Отражение оценки, которую сами себе давали «лихие люди» — «воры», разбойники, безусловно, положительной, мы находим в стихах А. П. Сумарокова (XVIII век):

Но солнца то едины тѣни:  
Даются мудрости степени:  
Воръ мудръ и лихъ, машейникъ крутъ,  
Разбойникъ то жъ, но ихъ онъ болѣ;  
Такъ каждый чтимъ въ какой онъ дѣлѣ,  
Хотя изъ нихъ и каждый плутъ.

Ода. От лица лжи

Не в связи ли с переосмыслением слова *лихой*, в юридических памятниках законодательного характера термин «лихой человекъ» начинает заменяться в XVI—XVII веках термином «воръ» (наблюдение Е. Ф. Баклановой. См. Ученые записки Горьковского университета, вып. 44, 1957).

*Лихой* в значении «смелый, отважный» начинает употребляться в литературном языке лишь со второй половины XVIII века и лишь в жанрах, допускавших употребление просторечных слов; чаще всего оно использовалось в целях иронического снижения образа. Только в XIX веке, когда «значения слова, которые прежде были разъединены употреблением, — писал академик В. В. Виноградов («Очерки по истории русского литературного языка XVII—XIX веков», М., 1938), — принадлежали разным стилям языка художественной литературы, разным диалектам и жаргонам письменной речи или устно-бытового просторечья», сочетаются в художественном языке 20—30-х годов, особенно в языке Пушкина, в новые единства, лишь тогда «положительные» значения слова *лихой* входят в язык поэзии и занимают там прочное место наряду с «отрицательными» значениями. В прозу «положительные» значения слова *лихой* проникают еще позже — в 30—40-е годы XIX века.

О. И. СМЕРНОВА

# Слова с корнем ЖИР-



Приключись беда или случись несчастье, на ум тотчас придет поговорка: «Не до жиру, быть бы живу». В просторечии и поныне бытует укор: «больно жирный будешь», который, по обыкновению, адресуют людям алчным, либо склонным к зависти. И, наконец, оценивая щедро накрытый стол или невидный результатами труд, кто в сокрушении не говаривал: «Да, не жирно...».

*Жир, жирный, жирно* — эти и многие другие слова того же корня знает каждый. Но если обратиться к прославленному памятнику древнерусской литературы «Слово о полку Игореве», то легко заметить, что слово *жир* употреблено здесь в каком-то неизвестном нам значении: «Ту Нъмци и Венедици, ту Греци и Морава поють славу Святъславлю, кають князя Игоря, иже погрузи жир во днѣ Каялы, рѣки Половецкїя, Русского злата насыпаша».

Авторы поэтических переводов обычно передают здесь слово *жир* как «добро», «богатство». В переводе Н. Заболоцкого, например, читаем: «Игорь князь в Каяле половецкой Русские богатства утопил», а в переводе И. Новикова это место звучит следующим образом: «Тут немцы и венедейцы, Тут и моравцы, И греки — Славу поют Святославу; Осуждают, жалея, Игоря-князя, Что погрузил Добро, Русского злата насыпавши, На дно половецкой Каялы-реки». Примечательно, что в «Материалах к Словарю древнерусского языка» И. И. Срезневского отмечено интересующее нас значение слова *жир*, причем на основании одной единственной цитаты из «Слова...». В этом случае стоит обратиться к другим источникам, которые бы подтвердили, что в древнерусском языке слово *жир* бытовало в значении «богатство», «добро». И здесь красноречивыми свидетелями оказываются данные диа-

лектов. Надо сказать, что русские народные говоры сохраняют приметное число старинных слов с корнем *жир-*, которые по смыслу близки понятиям 'добро' и 'богатство'. Любопытно, что В. И. Даль среди основных значений слова *жир* отметил значение (очевидно, диалектное, ибо ни словари, ни картотеки такого значения слова *жир* в минувшем столетии не отмечали) 'богатство, достаток, избыток, роскошь', подтвердив его поговоркой: «На чужом жиру (то есть добре) недалеко уедешь».

На русском Севере, к примеру, употребляется слово *жира* — 'домашнее хозяйство'. Известный архангельский словарь А. О. Подвысоцкого гласит: «В Онежском уезде родители сватаемой невесты предварительно ответа свату ходят посмотреть жиру жениха, который, если беден, старается приукрасить ее, заимствуя у соседей, у кого одежду, у кого самовар а у кого и корову». В Олонецкой губернии было известно слово *жёрка* со значением 'небольшое домашнее хозяйство' (У нас жирка небольшая, управляемся одни, 1912). У иных северян (архангельцев, олонча, вологжан) *жйра* обозначает еще 'жилое помещение', 'дом', 'изба'. В Олонецкой губернии о чьем-либо доме могли сказать «жйра у них хорошая». В Архангельской области и КАССР *жирой* по сей день называют этаж дома — 'верхняя жира', 'нижняя жира'.

В этих же краях бытует слово *жйрова* (или *жировá*), что значит 'имущество, состояние'. В. И. Даль приводит такую поговорку, слышанную им в Архангельской и Вологодской губерниях: «Умен да без жировý, хуже гнилой травы». Про место, где хранится имущество, здесь говорили *жировá*: «Я по вашим жировам не хожу» (Олонецкая губерния, 1898).

Таким образом, упомянутые выражения: «не до жиру, быть бы живу», «больно жирный будешь», «да, не жирно...» соответственно означают: 'не до богатства, быть бы живу', 'больно богатый будешь', 'да, не богато...».

С понятием большого числа чего-либо, довольства и изобилия связан целый ряд диалектных слов с корнем *жир-*. Так, у псковитян слово *жир* употреблялось именно в значении 'большое количество', 'множество чего-либо' (1902—1904). В. И. Даль приводит слово *жйры* в значении 'раздолье', 'довольство', 'приволье', 'жизнь полной чашей'. (Он теперь на жирах. В жирах бесятся, с жиров дурят). Прилагательное *жировý* во многих местах, как на севере, так и на юге, значило 'счастливый', 'богатый', а *жйрный* 'большой', 'обильный'. В Орловской, Тамбовской и Воронежской губерниях о полой воде говорили: «Теперь вода-то не жйрная, ступай куда хошь», — записано в Тамбовской губернии в 1851 году. Во Владимирской и Костромской губерниях *жирными* называли

сочную траву и сено (1905—1921). Нельзя здесь не вспомнить тот момент из «Слова о полку Игореве», где речь идет о великой печали, объявшей Русь после поражения князя Игоря: «Печаль жи́рна тече средь земли Руский».

Слово *жир* в древнерусском языке означало еще «па́жить», а глаголы *жировать*, *жироваться* употреблялись в значении «пасться», *жирование* «пастьба». В народных говорах сохраняются слова и с этими значениями. В Шенкурском уезде Архангельской губернии, как свидетельствует запись 1854 года, *жиром* называли «место, где кормятся и мечут икру рыбы» (1854). Словарь В. И. Даля толкует слово *жирь* как «поемы полои около рек, где в полуую воду рыба жиру́ет, гуляет и кормится». В Вологодской губернии (Кадниковский уезд), по свидетельству собирателя Иваницкого, бывало слово *жи́ра*, обозначавшее «хорошее, удобное пастьбище для скота» (1883—1889). В Архангельской области поныне звучит слово *жированье*, которое здесь значит «отдых, покой, приятное времяпровождение» (1939—1941).

Известно, что слово *жировать* употребляется и в современном литературном языке с прежним значением «кормиться, гуляя, резвись» (о зверях, птицах, рыбе), а в просторечии со значением «резвиться, тешиться, баловаться» (Словарь современного русского литературного языка, т. IV. М.—Л., 1955). Этот глагол известен повсюду на Севере и в Сибири со значениями, производными от древнерусского «жить, вести тот или иной образ жизни»; «жить в довольстве, в достатке»; «ходить в гости, пировать»; «ухаживать за женщиной».

А вот как звучит это слово в сказке, записанной в Архангельской губернии. Царь предлагает Ивану-царевичу выбрать себе жену и при этом поторапливает его: «Чего ты роешься! Можно любую брать с краю», на что царевич ему отвечает: «Ах, ты царь, да ведь мне не ночевать, а надоть век жировать» (1917). В Орловской губернии (Волховский уезд) этот глагол употребляют, говоря о природе, о земле, и тогда он значит «производить, давать что-либо в избытке»: «Ишь, земля жиру́ет, ажно рожь полегла» (1911).

Многие слова с корнем *жир-* употребляются в значении, которое близко к уже отмеченным. Это — *жизнь*, иногда «привольная, хорошая жизнь». Вот что говорится в одной сказке из сборника А. Н. Афанасьева, записанной в Архангельской губернии: «После битвы заснул он крепко, и привиделось Мартышке (прозвище солдата) во сне: — Сбежи, Мартышка, в иное королевство. Там тебе жи́ра будет добрая». «Эка ему жи́ра, умирать не надо», — приговаривали архангельцы, когда речь шла о вольготной жизни. На Северной Двине еще и сегодня можно услышать: «Не житее ему,

а чистая жи́ра» (1931), что соответствует литературному: «Не житье ему, а чистая благодать».

В плаче матери по убитом на войне сыне (записан от знаменитой плакальщицы Ирины Федосовой), находим уменьшительно-ласкательную форму этого слова: «А мы ли до́мушка тебя не нежили, словечком грубным тебя не гневали; И во до́мí своем в крестьянской жи́рушке И быдто сыр ты в маслушке катался, И быдто рыбинька в воде ты копошался». Так же в причитаниях невесты из Олонецкой губернии: «Ваша думушка, родители, часовая, Мне же жи́рушка, желанные, вековая».

На Севере о хорошей, привольной жизни говорили иногда *жировá*. Так, у вологодцев и новгородцев можно было услышать: «да у него не жить, а просто жирова», что соответствует литературному: «не жизнь, а масленица». В тех же краях бытует выражение *жирьмя жить*, что значит «жить в полном довольстве, имея все в изобилии». «Ребята у той жонки жирья живут», — записано в Шенкурском уезде Архангельской губернии (1912).

Быть может, эта же мысль о здоровье, о единстве всех естественных сил звучит в слове *жи́руха*, когда оно обозначает луговую траву *Maianthemum bifolium* из семейства лилейных, настоей которой издавна служит для лечения многих недугов и, среди них, болезней сердца (Вологодская губерния, 1883—1889).

Мысль о добре, в широком его понимании, и обо всем хорошем, что может ему сопутствовать, составляет смысловую основу большинства русских слов с корнем *жир-*. И в словах этих отражены такие свойственные нашему национальному характеру черты как жизнелюбие и веселость. Например, в Архангельской былине из сборника А. Д. Григорьева (Архангельские былины и исторические песни. Т. 1, 3. М., 1904—1910) слово *жировáнье* значит «гулянье, веселье»: «Да у ласкова князя да у Владимира заводилось жировáньице, почестен пир». В Тамбовской и Пензенской губерниях слово *жировня́* обозначало «шумную, веселую игру с хохотом и толкотней», а *жирúхой* в этих краях называли «смешливую шалунию» (такая жируха, все бы и играла). В Курской губернии бытовало слово *жирúн*, обозначавшее «охотника до веселой, беззаботной жизни» (1859).

Ю. И. ОРОХОВАЦКИЙ

Рисунок В. Толстоногова

ПОТЯТУ  
в «Слове  
о полку  
Игореве»  
и  
созвучные  
факты  
XVII века



Мы уже обращали внимание на то примечательное обстоятельство, что известный комплекс лексических элементов, вошедших в «Слово о полку Игореве», ныне либо не встречающихся, либо очень редких, наличествует в рукописях делового содержания XVI — XVIII веков, приуроченных в общем к территории бывшей Новгород-Северской земли; это — необыкновенно употребительные в рукописях названия *струга* и *яруга*, а также *оболонье*, *болонье* (в «Слове» — *болонь*), однажды отмеченное *Хорсово болото* (сравните в «Слове» — *Хорс*) и, кроме того, *незнаемый* и другие (Труды Отдела древнерусской литературы, XVII; Ученые записки Московского областного педагогического института, т. СXXXIX, вып. 9). Еще сравнительно недавно в той же самой области и сопредельных с ней местах, курских и орловских, отмечались *галицы* и *комонь*, *лада* 'супруг, возлюбленный', *смага* 'копоть, жар', *каять* 'укорять, порицать', *лелеять* 'вести, нести' *щекотать* 'щебетать' и некоторые другие (Ученые записки Орловского педагогического института, т. IX, вып. 4).

В основанном на этих фактах заключении говорилось: в старых текстах, приуроченных к иным русским областям, встречаются отдельные, одинокие параллели к лексике «Слова о полку Игореве», но такого комплекса параллелей, как связанный с Новгород-Северской землей, они не включают. Истоки лексического своеобразия поэмы, за вычетом книжных элементов, восходят к языковой стихии именно этой области. Мнение о данной области как родине «Слова о полку Игореве» получает, с нашей точки зрения, известное обоснование.

По мере дальнейшего обследования названного круга старинных рукописей указанный комплекс выступает все более и более рельефно и несколько расширяется. Например, в Рыльской отказной книге 1639 года (хранится в Центральном Государственном архиве древних актов) читаем: лѣсу Хорсова, лѣсом Хорсовым (Поместный приказ, опись 218, кв. 10569, л. 1292 об.).

По новым данным, в упомянутый комплекс можно включить образования, созвучные представленному в «Слове» *потяту*: «Луце жъ бы потяту быти, неже полонену быти». Страдательное причастие *потяту* — от глагола *потати*, в котором видят значения 'убить', 'зарубить', 'срубить'. Следы глагола *потати* регистрировались в древнерусских памятниках: *потнемѣ* (Повесть временных лет), *потънеть* (Русская Правда), *потятым* (Задонщина) и других. Все это такие тексты, лексический состав которых, вследствие разных причин, не может быть строго приурочен к определенной лингвистической территории. Мы имеем возможность привести из более поздних источников образования того же корня, причем несомненно связанные с Новгород-Северской землей.

Например, в Севской оброчной книге 1671 года (Центральный Государственный архив древних актов) находим такое описание одного из бортных знаков или, как тогда писали, знамен: «Бортной ухожей знамя коник у коника во рте тенъ да грива перѣтъята» (Разрядный приказ, Денежный стол, кн. 342, л. 1738 об.); в описании этого знамени, в основном представляющего собой схематическое изображение коника, вырезанного или вырубленного на дереве, (грива) *перѣтъята* означает: пересечена резаной или рубленой чертой; с *перѣтъята* здесь перекликается *тенъ*, а далее читаем: «На корѣни куцыр набокъ в серѣдине тѣнъ да поверхъ куцыря тен же» (сравните примеры из Правды Русской: «Аже дубъ потнеть знаменьныи..., аже

борть потънеть...»). Вот еще несколько примеров, рассеянных по другим листам: «Куцыр кверху рогами на правом рогу тен» (л. 1644 об.); «Знамя мотовило на лѣвой стороне два тна» (л. 1728); сравните: «знамя вилы с откоскомъ да притинокъ на бороде» (л. 1644—1644 об.); «Знамя жеравлиная лапа с притинком» (л. 1727); «Знамя куцыр кверху рогами с правого и с лѣвого боку притинки» (л. 1730). В книгах учета бортных угодий, которыми Новгород-Северщина славилась издавна (так, в Сказании о Мамаевом побоище упоминаются «медокормци ис Северы»), подобных примеров множество, причем нередко описания знамен сопровождаются их рисунками. Из этих рисунков явствует: *тен* — короткий надрез или надруб, *притинок* — то же самое, но как дополнительная метка при том или ином элементе знамени.

Принадлежность этих лингвистических фактов к новгородсеверским местам подтверждают и поздние показания — начала текущего столетия. Автор «Этимологического словаря русского языка» А. Г. Преображенский в словарной статье *тяги* приводит знакомые севским говорам *тнуть, тну, тнешь* 'ударить (ножом или каким-либо орудием)'. Следы сходных образований, впрочем, довольно редкостные, не чужды отдельным русским говорам, например, онежским, но в таком лексическом комплексе, как уже описанный выше, в иных русских говорах они нигде не выступают. На русской почве эти образования — пережитки общеславянских. Сравните украинское: *тну, тяги* 'резать, рубить, косить, бить, кусать'; белорусское: *цяць, тну* 'рубить, ударять'; словенское *teti, tnèm*; древнечешское *tieti, tnu*; чешское *titi, tnu*; словацкое *t'at*; польское *ciać, tne*; верхне-лужицкое *śeć*; ниже-лужицкое *śěś*.

Возвращаясь в пределы русского языка, можно сказать следующее: очевидную связь рассматриваемых фактов с Новгород-Северской землей, видимо, следует принимать во внимание при изучении «Слова о полку Игореве».

Прозвучавшее в «Слове» образование *погяту* обыкновенно толкуют как 'убиту' или 'порублену'. Первое из этих толкований едва ли доказательно, поскольку в древнерусском языке употреблялся глагол *убити*. Полагаем, второе толкование более реально.

С. И. КОТКОВ

Рисунок В. Толстоногова

«Июня в 9 день  
 пришел перед  
 губново старосту  
 перед Ивана  
 Саламыкова Конос  
 Григорьев сын,  
 ростом средней,  
 волосом чермен,  
 борода комлата,  
 лет в сорок,  
 очи серы;  
 своею женою,  
 с Марьею  
 Степановою  
 дочерью,  
 ростом невелика,  
 круглолика,  
 нос прям, очи кари,  
 волосом руса,  
 лет  
 в полтретьяцать,  
 да своею дочерью,  
 с Ульяною,  
 волосом черна,  
 плоска, очи серы,  
 шти лет».



## КАБАЛЬНЫЕ КНИГИ

Среди источников по истории русского языка XVI—XVII веков привлекают внимание записные кабальные книги, в которых оформлялись права владельцев на кабальных холопов.

Велись такие книги во многих местах России. Известны, например, книги по Москве, Новгороду, Пскову, Порхову, Нижнему Новгороду и другим городам.

Публиковались упомянутые книги мало. Среди публикаций выделяется издание «Новгородские записные кабальные книги 100—104 и 111 годов» под редакцией А. И. Яковлева, 1938. Здесь представлены не все книги по Новгороду и его пятинам (пятина — один из пяти административных районов, на которые делилась Новгородская земля в конце XV века). В издание не вошли многие книги за XVII век.

Слово *кабала* проникло в русский язык из тюркской среды, где употреблялось в значении «договор купли-продажи». В русском языке *кабала* представляла собой «заемную расписку»,

«долговое обязательство». Крестьянин брал денежную ссуду и давал письменное обязательство «служити у государя своего во дворе и всякое дело делати», то есть трудом отрабатывать долг. Такая зависимость оформлялась служилой кабалой. Содержание кабальных книг составляют записи служилых кабал.

Приведем образец кабальной записи:

«Июня в 9 день пришел перед губново старосту перед Ивана Саламыкова Копос Григорьев сын, ростом середней, волосом чермен, борода комлата, лет в сорок, очи серы; своею женою, с Марьею Степановою дочерью, ростом невелика, круглолика, нос прям, очи кари, волосом руса, лет в полтретьяцать, да своею дочерью, с Ульяною, волосом черна, плоска, очи серы, шти лет; а сказали, в холопстве не бывали ни у кого; а бьют челом в службу Сави Чюдинову сыну Страхова и кабалу служивую на себя дают, а в кабали пишет: Се яз, Копос Григорьев сын, своею женою, с Марьею Степановою дочерью, да своею дочерью, с Ульяною, заняли емя у своего государя у Савы у Чюдинова сына Страхова четыре рубли денег в московское число июня от девятого числа да июня по девятое ж на десять число на год, а за рост нам служити у своего государя по все дни во дворе; а полягут деньги по сроце, и нам у государя своего за рост служити по тому ж по вся дни во дворе. А послуши в кабали Яков Самуилов сын. А кабалу служивую и кабальную записку писал земской дьячек Ортемец Дементиев, лета 7111-го году в июня в 9 день» (Новгородские записные кабальные книги, 1938).

Кабалы обыкновенно писали площадные подьячие. Писанные местными писцами, кабальные записи хорошо отражают черты живой народной речи. Особенно примечательны лексические данные в описании внешнего облика человека. Описание внешности кабальных людей отличается большой свободой в выборе средств характеристики. Поскольку физические приметы должны были оказывать помощь сыску беглых кабальных людей, то обращалось внимание на особенности, которые не могли меняться с годами: качества, заложенные от природы, увечья и т. д.

Характеристика физического облика человека обыкновенно начиналась с определения роста, цвета лица, волос и глаз. «Ростом человек середней, волосом рус, лицом бел, очи серы». Такое описание отвечало требованию «каков хто ростом и рожем и очми», но мало чем могло помочь сыску беглых крестьян. Поэтому писцы тщательно отбирают особенности, присущие данному человеку.

В кабалах находим разнообразные определения роста человека: *высок*, *ростом велик*, *невысок*, *собою низок*, *ростом невелик*, *ростом немал*, *собою присадист*, *привемист*, *ростом середний*

Земский дьячок Осташко Симонов в одной кабале пишет: «а собою Маринка в версту...».

Любопытны общие характеристики человека: телом *моцелуват, кренаст, плоска, подсух, сугул, сугорб, сухмян, сухопарь, голук, широк, курбатый*. Далее встречаем указания на цвет лица, глаз и волос: в лице *смугол*, в лице *бел*, лицом *беловат*, лицом *в бели румяна*, лицом *бледноват*, в лицо *черн*; волосом *бел, сед, краснорус, рус*; очи *черны, очи серы, красносеры, кари, скрасна серы, прочерны, смуглы, белы, избела серы, белы с серью*. Расширение круга цветовых характеристик достигается за счет различных оттенков основного цвета, причем выразительно используются возможности русского словообразования.

Привлекают внимание и слова, характеризующие форму глаз: «Гриша в русе черн, в рожу сухошек, смугол, ус рус, глаза серы, впали»; «Денисей Васильев... рожаем и волосом бел, глаза серы, глубоки»; «Марьца ростом середняя, рожаем бела, очи ниски, черны». В Псковском областном словаре выражение *низкий на глаза* означает «со слабым зрением» (Псковские говоры I., Псков, 1962). Очевидно, в кабальной записи *очи ниски* имеет то же значение.

Другие определения глаз: очи *косы, малы, велики, невелики, очима моргава, очми недолука, глазами приника, очи взлызы, приворока*. В Новгородской кабальной книге 7108-го (1599—1600) года писец отмечает: «Дорофейко ростом человек средней, волосом чорн, очи чорны тесноваты...».

Разнообразны определения формы и величины носа: *востер, велик, долг, крив, круг, мал, не мал, недолок, носат, прям, перелук, плоск, короток, кокороват, нос на ливо покривилсся, сух, нос переломлен, нос с перелучкою не великой*.

Во внешнем облике человека писцы стремятся обнаружить качества и особенности, которые не повторяются. Вот, например, какими словами земский дьячок Семейка Матвеев характеризует холопа Тимофея: «а волосом Тимошка рус с сединою, долголик, нос покляп на правую сторону покривилсся, на левой стороне, ниже ягодицы (щеки), к усу близко бородавка, а на ней клочок волосов». В подобных писцовых характеристиках внешнего облика человека обычно проявление народной и диалектной речи. Так, слово *покляпный* «крючковатый», «кривой», «наклонный» (В. И. Даль) связывает речь того времени с фольклорной традицией — былинной и народной песней — береза *покляпная* (нагнутая) и нос *покляпный*. «Да у той ли у березы у покляпныя...» (Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом летом 1871 года. СПб., 1873).

Слово *ягодицы* (ягодица) в значении «щека» или «скула» отмечается как новгородское и сибирское (В. И. Даль).

А вот определения бороды: *востра, долга, велика, немала, невелика, курчевата, продолговата, бородою скуден, бороденко маленько, околмовата, комлата*. Прилагательное *комлата* по смыслу связано с глаголом *окомлатъ* «дурно остричь, выхватывая клоки» (В. И. Даль).

Для обозначения волос, растущих от висков по щекам, употреблялось слово *бруди*. «Рожеем Степанко щевроват, а бороду бреет и щиплет, бруди невелики, русы»; «Григорей рожеем чермен, бороду бреит, бруди отпущены». В памятниках письменности слово *бруди* отмечается с XII века. В современном литературном языке его заменяет слово *бакенбарды*, заимствованное из немецкого языка.

Образование, производное от *бруди*, встречаем, например, у Гоголя: «Ну так купи собак. Я тебе продам такую пару, просто мороз по коже подирает! *брудастая* с усами, шерсть стоит вверх, как щетина...», — говорит Ноздрев Чичикову (Н. В. Гоголь. Собрание сочинений. М., 1934).

А вот какими лексическими средствами характеризуют писцы лицо человека: в лицо *долга*, в лицо *широк*, в лицо *продолговат*, в лицо *суховат*, в рожу *круглолик*, в лице *неширок*, в лице *плоск*, в лице *скуден*, в лица *полон*, лицом *счулла*, рожеем *востра*, лицом *кокорова*, лицом *бабоват*, рожаем *мощелуеват*, рожеем *шадровита*, лицом *морсковат*, лицо *в ямках*, на лица *бобушки*, на лице *пестрины*, лицом *кореноват*, *кореноват* — «у него лицо искорепано оспой» (В. И. Даль). Большинство из этих слов не употребляются ныне в литературном языке, но встречаются в говорах.

Отмечаются физические недостатки: «Сидорко... *правой ногой припадывает*»; «Онуфрей Кондратьев собою молод... *ноги гнулись в одно место...*»; «У Сидорко... *голова клином...*».

Не ограничиваясь перечислением внешних примет, писцы иногда касаются и характера описываемого. В одной кабале читаем: «В роспросе Тараско сказался — *весельем*».

В кабальных записях находим факты, которые проливают свет на историю отдельных слов, историю их значений. «Ондюша, — пишется в кабале, — волосом бел, на голове *знамя*, волосы черны на знамени». «Знаменье, знак, признак, примета; печать, клеймо, рубец, пятно, например, от чумы» (В. И. Даль). Или: «Иванко Тимофеев молод, волосом рус, на левой стороне на лбу *знамечко* невелико, зашибено»; «а на лица под левым глазом *знамечко* невелико, было зашибено камнем». У Андриюши — *знамя*, видимо, природное пятно. В двух других примерах — след от ушиба. Примерно тем же значением обладало и слово *убой*: «Ивашко ростом средней... на лбу лошадиный *убой*». *Убой*, орловское — «синяк», «знак от ушиба» (В. И. Даль).

В кабале, написанной земским дьячком Первушей Борисовым, мелькнуло слово *туск*: «рожеем Федотка смугла, глаза серы, правой глас побило *туском*». «Тусклость, и что причиняет ее, отымает ясность и блеск, что наводит луду, муть, затинь. Туск на глазу, луда, бельмо» (В. И. Даль).

Значительную часть слов, характеризующих внешний облик человека, составляют сложные образования, исконность которых подтверждается помимо иных источников и материалами кабальных книг. Таковы сложные слова с основой *нос*: *кляпонос*, *долгонос*, *коротконос*, *сухонос*, *широконос*, *остронос*, *востронос*, *плосконос*, *кривоноса*. Сравнительно редко встречаются сложные образования со словами: *шея*, *щека*, *борода*, *зубы*, *ноги*, *уши*. Например, *долгошей*, *сухощок*, *голощок*, *голобород*, *пустобород*, *остробород*, *редкозуб*, *косоног*, *вислоух*.

Кабальные записи — редкий материал для наблюдений над такими элементами народной речи, которые обыкновенно не отражаются в других письменных памятниках.

Т. Ф. ВАЩЕНКО

Рисунок В. Толстоногова

## ДРЕВНЕРУССКИЕ СУФФИКСЫ



Ошедшие до нас письменные памятники древней Руси сообщают о жителях других стран, о далеких предках, их жизни, быте и обычаях. Так, в «Успенском сборнике XII—XIII веков» (М., «Наука», 1971) говорится, что к славянам посылались «учителя» для изучения славянских обычаев: «...хоташе учителя словѣньскѣхъ посылати и първаго архиепископа, да бы проучилсѣ всѣмъ обычаемъ словѣньскимъ», а также приезжали учителя только с просветительскими целями: «...и суть въ ны въшли учителя мнози крѣстиани из влахъ и из грѣкъ, и из нѣмьць, учаще ны различъ»; (влахъ — волох — старое название романских народов; М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка. М., 1964).

Кроме того, памятники письменности позволяют судить о грамматических, лексических и стилистических особенностях письменного языка того времени, а также о словообразовательных средствах (аффиксах, суффиксах). Приведенные выше при-

меры свидетельствуют, что среди имен существительных встречаются как безаффиксные, так и осложненные суффиксами образования; в частности: *-тель*, *-ьць*, *-инь*, *-ѣне* — суффиксы, употребляющиеся в именах со значением лица.

Большинство суффиксов, бытующих в современном русском литературном языке, характерны для всех славянских языков и существовали еще в общеславянскую эпоху. Наличие в балтийских языках суффиксов, соответствующих славянским, свидетельствует о существовании их еще в балто-славянскую и даже общиндоевропейскую эпохи. К древним суффиксам, связанным с дославянским периодом, относятся суффиксы: *-ль* (быль), *-ло* (дѣло) *-ель / -аль* (гибель, печаль), *-нь* (дань), *-ть* (власть), *-ѣда* (правда, вражда), *ѣба* (судьба, дружба), *-тва* (битва, женитва), *-ыни* (пустыни «пустота», твердыни), *-ина* (истина, чистина), *-ота* (бѣлота, темнота), *-ость* (простость, чистость), *-икъ* (блиенкъ, «родственник») и другие. Сугубо славянскими, отсутствующими в балтийских и других индоевропейских языках, являются суффиксы *-ние / -ение* (величание), *-тие* (датие), *-тель* (будитель, защититель), *-ство* (достоинство), *-ствие* (богатстве, лукавствие).

Однако в словообразовательной системе русского языка произошли изменения. В дославянскую эпоху суффиксы (так называемые тематические гласные) *-а*, *-о*, *-і*, *-ѣ* служили средством для образования новых слов, а позднее стали показателем принадлежности имени к определенному классу (склонению). С помощью суффиксов *-а*, *-і* образовывались отглагольные имена женского рода: слав-а, хвал-а, помощь, а при помощи суффиксов *-о*, *-ю*, *-і* — образования мужского рода: завѣтъ, ловъ, вождь, кличь. Тематический гласный *-ѣ* выделяется в именах *свекры* (свекровь), *любы* (любовь), *тыкы* (тыква).

Для каждой лексико-семантической группы слов характерны суффиксы с определенным значением. Имена со значением лиц мужского пола образовывались с помощью суффиксов *-икъ / -ьникъ* (побѣдникъ), *-тель* (водитель «вождь»), *-ьць-* (пришьльць), *-арь* (вратарь), *-ань / -инь* (кръстиѣнь) *-анинь / -янинь / -ѣнинь* (сельчанинь). Такие имена, как словѣпиѣ — словѣпе, граждаиниѣ — граждане (русск.: слованинь — словяне, горожанинѣ — горожане), были известны еще общеславянскому языку. Суффикс *-янинь* служил для образования названий лиц по их месту жительства, социальной или национальной принадлежности, а также указывал на то, что корень этого имени относится к названию местности или реки; суффиксы *-ѣне / -яне* — для множественного числа, а вторая часть сложного суффикса *-инь* указывает на единичность: егупт ѣне / егуптъѣне, вавилон ѣне, месопотамляне.

Имена со значением лиц женского пола образовывались преимущественно от имен мужского рода с помощью суффиксов *-ица* (общыница, при общыникъ 'участник') и *-ыли* (болгарыни, грыкыни 'гречанка'). Образования с суффиксом *-ица*, производные от имен лиц мужского пола, могли выражать как значение лиц женского пола *поборыница* (поборыникъ 'помощник'), *свверстыница* (свверстыникъ 'супруг'), так и предметно-вещественное *поварыница* 'кухня' (ср.: поварь).

Многим древнерусским суффиксам свойственна многозначность, благодаря чему один и тот же суффикс выступает в нескольких лексико-семантических группах. Суффикс *-ыни* участвовал в образовании имен лица женского пола и отвлеченных понятий: *простыни* 'простота', *добрыни* 'доброта'. Суффиксы *-ыць* и *-ица* использовались в именах с уменьшительно-ласкательным значением: *братыць*, *дворыць*, *хартыи* и *хартыица* 'грамота, письмо'; «хартыица же бѣ нова» (Синайский патерик. М., «Наука», 1967); *понава* и *понавица* 'вид ткани': «и понавницею обить» (Успенский сборник). В древнерусском языке слова *власыница*, *багырыница*, *окройница* обозначают виды одежды: «Козылины бо тому бѣахутьяко многоцѣннаа и свѣтлаа одежа, власыница же гакъ се чѣстнаа и црськаа багырыница» (Успенский сборник); [одежда из козней шкуры была для него дорогой и светлой одеждой, а власыница — как царская и дорогая одежда красного цвета]; «чървленую окройницу възъ» (Успенский сборник) [взял одежду из красной дорогой ткани]. Суффикс *-ина* выступал в словах со значениями: отвлеченности (глубина), лица (старбышина), вещи (хыза — хызина 'дом'), а имена существительные со значением собирательности образовывались при помощи суффиксов *-ство* и *-ие*: «и болгарство, и людие, и бещисльное множество» (Успенский сборник).

В древнерусском языке также активны были суффиксы, не характерные для современного русского языка. К таким относятся *-ищъ* и *-иць* со значением уменьшительности (кораблиць) или указанием на лицо мужского пола (дѣтиць, дѣтениць 'дитя'; вѣдовиць 'сын вдовы'; любимиць). Суффиксу *-ищъ* по своей структуре близок суффикс *-ище*, выступавший в именах со значением места действия: *судыще* и *судилище* 'место суда', *тържище* и *търговище* 'базарная площадь', *прибѣжище* и *убѣжище* 'место, где можно спастись'.

Особенностью древнерусского словообразования является, во-первых, наличие суффиксов, потерявших свою активность в современном русском языке, а во-вторых, — существование большого количества суффиксов с близким или тождественным значением. Это способствовало появлению словообразовательных синонимов,



## ОБЛАСТНЫЕ ГОВОРЫ

Трудно назвать такую отрасль науки о языке, где бы не использовались материалы по местным говорам. История русского и других славянских языков будет неполной, если не учитывать диалектных данных. Изучение вопросов исторической и современной лексикологии и семасиологии, словообразования, функционально-стилистической системы русского языка, многих морфологических категорий (род, одушевленность — неодушевленность, число), фонетических явлений просто невозможно без привлечения диалектных материалов. Велико значение этих данных и для истории, археологии, этнографии, ботаники и зоологии.

В связи с выходом в свет десятого выпуска «Словаря русских народных говоров» мы публикуем статью заведующего словарным сектором Института русского языка АН СССР в Ленинграде Ф. П. Сороколетова.



# СОКРОВИЩНИЦА РУССКОГО НАРОДНОГО СЛОВА

Количественный состав русской диалектной лексики, превышающий в два — три раза количество общеупотребительных слов литературного языка, убедительно говорит в пользу привлечения областного лексического материала в историко-лексикологические, этимологические и другие исследования. Все это поставило языковедов перед необходимостью собирания и лексикографической обработки диалектной лексики с тем, чтобы сделать ее таким образом доступной для изучения в самых различных областях языковедческой и исторической науки.

Собранный в первой половине XIX столетия диалектный лексический материал был обобщен в «Опыте областного великорусского словаря» (СПб., 1852) и в «Дополнении» к нему (СПб., 1858). «Опыт областного великорусского словаря» положил начало широкому изучению диалектной лексики, усилил внимание к ее сбору и созданию многих областных словарей XIX—XX веков. Лексический материал «Опыта» и «Дополнения» к нему полностью включен в состав знаменитого «Толкового словаря живого великорусского языка» В. И. Даля (первое издание СПб., 1863—1866), который до сих пор был самым богатым собранием русской диалектной лексики. Со второй половины прошлого века до наших дней русскими диалектологами и любителями народного слова собраны новые, весьма богатые словарные материалы, из которых только небольшая часть была опубликована в многочисленных печатных изданиях; еще меньшая часть издана в виде словарей и словариков отдельных сел, уездов, губерний. Наиболее значительные из них словари: архангельских говоров А. О. Подвысоцкого (1885) и А. Грандильевского (1907), олонечских — Г. Куликовского (1898), вятских — Н. М. Васнецова (1907), череповецких — М. К. Герасимова (1910), ростовских (Ярославской губернии) — В. Волоцкого (1902), кашинских — И. Т. Смирнова (1901), ярославских — Е. Якушкина (1896), тобольских — Патканова и Зобнина (1899), московских — В. И. Чернышева (1901), тульских и орловских — Е. Ф. Будде (1904), смоленских — В. Н. Добровольского (1914) и другие.

Будучи созданными в самом начале развития русской диалектологии, основанные на сравнительно небольшом по объему материале, эти словари и словарик уже не удовлетворяют современным требованиям.

Спустя столетие после выхода в свет «Опыта областного великорусского словаря» возникает идея создания второго в истории русского языкознания сводного словаря русской диалектной лексики — «Словаря русских народных говоров».

Идея создания этого труда принадлежит члену-корреспонденту АН СССР Ф. П. Филину. В 1958 году он выдвинул предложение начать работу над сводным диалектологическим словарем русского языка, который охватил бы лексические материалы, собранные в течение XIX—XX веков на территории распространения всех русских говоров. Эту идею он затем развивает в серии статей, опубликованных в советских и зарубежных изданиях. В 1961 году Ф. П. Филин выпускает в свет «Проект „Словаря русских народных говоров“», в котором разработаны теоретические принципы и концепция словаря, определен харак-

тер обработки лексического материала в нем, охарактеризованы источники выборок. Важнейшими вопросами, которые требовали обсуждения перед составлением СРНГ, были вопросы о типе словаря, его словнике, о хронологических границах и принципах описания включаемых в реестр слов.

«Словарь русских народных говоров» был задуман и составляется как словарь дифференциального типа. В его состав включаются только диалектные слова и значения. Решающим признаком принадлежности слова к диалектной лексике считается локальная ограниченность его употребления, наличие у него изоглоссы (линия на диалектологической карте, обозначающая границу распространения отдельного языкового явления), при этом учитывается отношение слова к литературной лексике: слова, имеющие изоглоссу на территории распространения говоров, но известные литературному языку, входящие в его лексико-семантическую систему, не считаются диалектными и не вводятся в словарь (например, *лялять*, *ухват*, *очень* и другие). В «Проекте...» много внимания уделено различиям между диалектными словами и словами разговорно-просторечными, специально-терминологическими, этнографизмами, архаизмами, окказионализмами и т. п.

Такое понимание диалектизма, выдвинутое Ф. П. Филиным в «Проекте...», является теоретически новым, всесторонне аргументированным и представляет наиболее твердые критерии при отборе материала для дифференциального областного словаря. Эти критерии применяются не только при работе над СРНГ, но и над многими региональными диалектными словарями, составленными и составляющимися в СССР.

Материалом для СРНГ служат большие накопления словарных сведений, собранных в течение XIX—XX веков, прежде всего — диалектные данные словарной картотеки Института русского языка АН СССР в Ленинграде, богатые фонды архива РГО, Архива АН СССР, рукописные собрания Библиотеки АН и других учреждений, материалы, хранящиеся в различных вузах страны и у частных лиц, а также сведения, опубликованные в самых различных изданиях. В качестве источников используются и произведения фольклора.

Картотека СРНГ начала создаваться еще в 1958 году по инициативе и под руководством Ф. П. Филина, наметившего в основном круг источников для выборки лексического материала. Материалы, вошедшие в основу областной словарной картотеки, можно разделить на четыре основных группы: а) материалы, которым придана та или иная лексикографическая форма (словари и словарики, толкования слов в тексте статьи, толкования

слов в примечаниях и т. п.); б) записи живой диалектной речи, лексикографически не обработанные; в) статьи, монографии и т. п., в которых диалектная лексика содержится в тексте, никак не выделяясь особо; г) фольклорные материалы (смотрите описание картотеки СРНГ в книге: «Лингвистические источники», М., 1967).

Количество выявленных источников превышает 3000 (списки источников опубликованы в «Проекте СРНГ», 1-ом выпуске «Словаря» и продолжают печататься в последующих выпусках), но это число далеко не исчерпывает весь запас собранных сведений. Полнее всего оказались представленными специальные лингвистические издания; большие трудности связаны с разысканием работ исторического, этнографического и т. п. характера, особенно опубликованных в местных изданиях. Обилие источников, на которых базируется СРНГ, гарантирует полноту охвата основной массы диалектной лексики и фразеологии, употреблявшейся в русских народных говорах на протяжении 170 лет (с начала XIX века до наших дней). Подсчеты показывают, что не менее 95% диалектной лексики будет представлено в издаваемом словаре. Новые материалы, при самом тщательном их разыскании, новые записи диалектной речи в наше время будут обогащать картотеку словаря в основном сведениями о географическом пространстве уже известных слов.

Хронологические границы охвата диалектной лексики лежат в пределах XIX—XX веков. Это оправдано и целесообразно. Кроме того, диалектные явления в словаре рассматриваются как противопоставленные литературной лексике в системе современного литературного языка, то есть русского литературного языка XIX—XX веков. Всего в СРНГ будет собрано и истолковано около 200 000 слов. Это будет самое богатое собрание русской диалектной лексики XIX—XX веков.

Диалектная лексика как самостоятельный объект изучения стала осознаваться только в XIX веке (хотя на диалектные особенности русской речи обращали внимание деятели культуры и XVIII века). Подавляющее число записей диалектных слов относится именно к XIX—XX векам.

В «Словаре русских народных говоров» обобщаются основные запасы русской диалектной лексики и фразеологии, собранные поколениями русских диалектологов за более чем 170-летний период, с начала XIX века до наших дней.

СРНГ будет иметь такое же научное значение, как и исторические словари, как и толковые словари современного литературного языка; он явится неотъемлемой частью комплекса словарей русского языка, который в настоящее время создается в Институ-

те русского языка АН СССР. СРНГ отличается не только богатством лексики и фразеологии, но и ее разнообразием. В него включаются слова, различные по широте употребления (узко локальные и известные целым группам говоров) и по происхождению (индоевропейские, праславянские, восточнославянские, собственно русские и заимствованные из европейских, финно-угорских, тюркских и других языков), ясные по морфологической структуре и с затемненной, а иногда неясной этимологией, различные по употребительности, живые в современной диалектной речи и архаические, вышедшие из активного диалектного словаря, неодинаковые по эмоционально-экспрессивной окраске.

В словнике СРНГ значительное место занимают слова, обозначающие предметы и явления, специфические для жителей отдельных областей, характеризующие быт, общественно-социальный уклад, духовную и материальную культуру русского народа в XIX—XX веках. Широко представлены ремесленно-промысловая терминология, названия орудий и процессов труда, одежды, домашней утвари, пищи, названия обычаев, обрядов, поверий, игр и т. п.

Структура словарной статьи СРНГ включает многие элементы структуры словарей литературного языка. Словарная статья начинается с приведения толкуемого слова в его начальной (основной) орфографической форме. В связи с тем, что в словаре обобщаются сведения о лексике различных (многих) говоров русского языка за более чем 170-летний период их развития, трудно, а иногда просто невозможно, установить фонетический облик слова. Поэтому единственно возможным и целесообразным оказался способ подачи слов в заголовке статьи в современной орфографической форме. Диалектная речь в значительной степени отличается от литературного языка наличием разнообразных вариантов одного и того же слова. В словаре принято за правило не показывать регулярные фонетические варианты слова; фонетические же варианты индивидуального (случай лексикализации) характера показываются в словаре как самостоятельные слова, хотя и могут разрабатываться в одной словарной статье, но именно как равноправные варианты.

Каждое слово, включенное в словарь, как правило, снабжается ударением и сопровождается грамматической характеристикой, семантическим толкованием, указаниями на переносные и образные употребления, сведениями относительно сферы употребления слова (устарелое, фольклорное, детское, редкое, бранное и т. д.). Большая часть слов и их значений подтверждается цитатами из живой диалектной речи; все слова имеют указания на террито-

рию их распространения (губерния, область) и дату первой фиксации.

Фразеологические сочетания, в которые вступает то или иное слово, разрабатываются в составе словарной статьи за особым знаком ∞.

СРНГ является толково-переводным словарем. Значения диалектных слов, полностью совпадающие с соответствующими литературными эквивалентами, передаются посредством этих эквивалентов. Другие значения толкуются описательным способом, причем толкование носит филологический характер: определяется значение слова, а не описываются соответствующие предметы и явления. Однако слова, обозначающие предметы и явления, которые отсутствуют в общенародном пользовании, относятся к специфическим чертам духовной и материальной культуры, социальному укладу, быту; вся ремесленно-профессиональная терминология, слова, выражающие понятия, связанные с обычаями, обрядами, поверьями, играми (то есть этнографизмы в самом широком смысле) определяются в значительной мере энциклопедически. Это делает СРНГ своеобразной энциклопедией русской народной жизни XIX—XX веков. Собранные в нем данные представляют интерес не только для историков языка и диалектологов, но и для историков, этнографов, литературоведов, фольклористов, социологов.

Работа над СРНГ ведется с начала шестидесятых годов в словарном секторе Института русского языка АН СССР (Ленинград). В 1965 году вышел первый выпуск словаря, включающий слова на букву «А», с теоретическим введением и списком источников. Первый выпуск составлен Ф. П. Филиным. В 1974 году появился в свет десятый выпуск Словаря («заглазки» — «заросить»); сейчас составляется семнадцатый выпуск, куда войдут слова на букву «Л». Всего намечается подготовить не менее 40 выпусков Словаря. Его создание подготовлено многолетними работами ученых по литературному языку и диалектологии, всей лексикографической практикой Академии наук СССР.

*Ф. П. СОРОКОЛЕТОВ*  
*Ленинград*

# ЯЗЫК НАШ — ЯЗЫК МОЙ

---

Почему мы спорим о языковой норме, об удачных и неудачных словах, о ясном и неясном изложении? Вероятно, потому, что слово слову рознь, что есть слова нейтральные и стилистически окрашенные, что одни слова сочетаются, а другие — нет. Вспомним «потный вал вдохновения» из Ильфа и Петрова: «потный», «вал», да еще «вдохновения». Не сочетается! Конечно, но писатели, сочетая несочетаемое, создавали комический эффект. А вот так, вовсе не думая о комическом эффекте, а стремясь сказать «красиво», свежо, выразительно, пишут в своих сочинениях и рефератах молодые люди — студенты 70-х годов: *он хотел узнать подноготную подвига* (но *подноготная* — из выражения *под ногтем* (от особого рода пытки) — это тайна, тщательно скрываемая, круг употребления этого слова ограничен чем-то отрицательным); *все простейшие люди...* (но *простейший* — это одноклеточный организм, люди же — *простые*); *надо изучать все отрасли жизни, стоя на ноге реальной действительности...* (стороны жизни, опираясь на факты); *газета рассчитана на очень широкую массу людей* (широкий круг читателей)... И, наконец, рассуждение на злободневную тему о языке: *бедный язык в руках литературствующих до того шлифовался и чистился, предложения стали до того стройны и общипаны, что какое-нибудь нарушение или просто народное слово встречается как оазис жаждущим*. Что можно сказать? Мысли авторов были справедливы, авторы хотели поделиться своими наблюдениями и впечатлениями, а вызвали лишь смех аудитории. Автор был серьезен, а читатель смеялся! В этих ситуациях язык терял свою основную функцию коммуникации — возникала, как теперь говорят, некоммуникабельность. И причиной тому было неудачно выбранное слово или словосочетание.

Знаток и ревнитель русского языка академик Л. В. Щерба вряд ли бы смог угадать своего последователя в напыщенной тираде о «бедном языке»! Авторов, вовсе не отступающих от нормы, конечно, не существует — они были бы невыносимо скучны. Лев Владимирович Щерба писал, что нарушение нормы должно быть обусловленным, осмысленным, более того, чтобы нарушить норму, нужно для этого иметь особое право. Назовем его — правом языкового чутья: «Когда чувство нормы воспитано у человека, тогда-то он начинает чувствовать всю прелесть обоснованных отступлений от нее у разных хороших писателей. Я говорю «обоснованных», потому что у плохих авторов они бывают часто недостаточно мотивированы внутренним содержанием — поэтому-то эти авторы и считаются плохими» (Л. В. Щерба. Спорные вопросы русской грамматики, «Русский язык в школе», 1939, № 1).

Это поистине золотые слова, и знать их должны все, особенно те, для кого слово и перо — профессия, дело жизни: учитель, писатель, журналист, радио- и телекомментатор, артист, юрист... Мысль Л. В. Щербы — от нормы, от жесткого правила к отступлениям, искусству, индивидуальному языковому творчеству — лежит в основе многих практических рекомендаций и теоретических работ, учебников, учебных пособий и методических разработок. А как складывается наше отношение к языку, отношение каждого из нас к языку собственному и звучащему вокруг нас?

### НЕ ЗНАЯ ЯЗЫКА ИЕРОКЕЗСКОГО...

Судьба языка волнует всех. Но как говорил еще Козьма Прутков, «не зная языка иерокезского, какое суждение о нем можешь иметь?» (Козьма Прутков. Полное собрание сочинений. М., 1949). Как часто без тени сомнения мы беремся судить о языке, считая, что знания родного языка даются без всякого труда. А подчас и того больше, просто считаем важным что сказать и не важным как сказать. А в результате — «мысль изреченная есть ложь...» (Ф. И. Тютчев. «Silentium!»). Нужных слов не хватает. И твердит рассказчик беспомощные э-э-э, так сказать, значит, ну вот... Или, высказавшись кудряво, «найдя слово с солью», недоумевает, почему так плохо его поняли.

Я позволю себе процитировать Андре Моруа (из «торжественной речи по случаю нового школьного года» — «Письма к незнакомке, опубликованные в русском переводе в «Иностранной литературе», 1974, № 1): «Не старайтесь превратить воспитание в серию удовольствий. Только усилие даст нужную силу уму. Пусть Ваш сын, читая, стремится понять, что он читает, иначе его внимание будет поверхностным и неубедительным. Не бой-

тесь великих писателей. Мать Пруста давала ему читать романы Диккенса и Жорж Санд — результат: Марсель Пруст... Воспитывать, — продолжает Андре Моруа, — значит возвышать ум и характер, значит вести к вершинам. Для этого необходимы учителя, обитающие на вершинах, то есть поэты...».

Так пишет француз о воспитательной роли литературы. Мы, конечно, можем найти немало источников воспитания в своей отечественной литературе: Гоголь, Л. Толстой, А. Толстой, М. Горький... Но почему русская литература, предписанная школьной программой, воспринимается как нечто обязательное, неинтересное, что-то вроде ушедшей с детством манной каши, школьной формы и всяких других неинтересных вещей. Вот один пример. Вступительный экзамен в институт по русскому языку и литературе. Передо мною существо с щедро закрашенными голубыми глазницами, протягивает дрожащими пальчиками билет. «— Не волнуйтесь, садитесь, пожалуйста... Скажите, вы помните слова Антона Павловича...» — «Чехова? В человеке должно быть все прекрасно, и лицо...» Не дожидаясь конца моего вопроса, выпаливает голубое существо. (Вот как было затвержено!) — «А как Вы понимаете эти чеховские слова? Относите к себе?» Голубые глазницы распахиваются, показываются вовсе неплохие карие глазки, полные неподдельного изумления, смысл которого: такого вопроса в программе нет. Что ж, перейдем к программе. В билете вопрос о творческом пути Н. В. Гоголя. Несколько быстрых «штампованных» фраз и мучительная пауза. Пытаюсь помочь: расскажите, почему Плюшкин... — «Ах, этот „школьный“ помещик...». Как выяснилось потом в это необычное, неповторимое сочетание — «школьный помещик» — вкладывалось значение — надоевший, неинтересный. Степень беспомощности на экзаменах может быть разной, но само явление беспомощности в поведении абитуриентов, к сожалению, явление довольно частое.

Раскрыть смысл гоголевской поэмы современному школьнику, показать неумирающую прелесть гоголевского языка, не заставить выучить, а помочь понять знаменитую крылатую фразу «все мы вышли из гоголевской „Шинели“» — все это, конечно, не просто. Но ведь именно это составляет суть уроков, посвященных родной литературе и родному языку. Вдумчивое чтение текстов, казалось бы, необходимо. Но уже стало обычным школярское выражение — «читать по диагонали»: схвачен сюжет, общее представление... А потом по учебнику — там все написано: образы, тема, идея, значение. Есть и еще один враг вдумчивого чтения.

## ФИЛЬМ ПРОТИВ КНИГИ

---

— Читали «Войну и мир», «Оливера Твиста», «Братьев Карамазовых»?

— Нет, смотрел в кино.

Так начинается одна из статей сборника «Книга спорит с фильмом». Об ответственности перед классикой пишет «Советский экран» (1974, № 3). Роль технических средств и наглядности в преподавании, конечно, бесспорны. Уже на заре кинематографа такие ученые как К. А. Тимирязев, И. И. Мечников, В. М. Бехтерев энергично поддерживали «волшебный фонарь» и «разумный кинематограф» (учебный). Крупнейшие ученые, профессора Московского университета, консультировали фильмы, вошедшие в историю кино: «Кровообращение», «Дыхание», «Нервная система», «Жизнь бабочек», «По Волге от Самары до Симбирска». Но даже в период самых блестящих надежд на «разумный» учебный кинематограф раздаются и тревожные голоса: не приучит ли кино учеников и студентов к пассивной созерцательности? Этот вопрос в наше время — время обильной кино- и телеинформации — приобретает актуальность. Это не праздный вопрос. Информация «на слух» и «на глаз» дает пассивное ознакомление, если нет так называемой обратной связи — беседы «ученик — учитель», семинара, дискуссии, непосредственного словесного обмена мыслями, если нет вдумчивого чтения. Словесное общение и вдумчивое, неспешное чтение необходимы в развитии языкового чутья, культуры и искусства речи. Каждый говорящий и пишущий должен владеть определенным языковым материалом:

Материю песни, ее вещество  
не высосет автор из пальца.  
Сам бог не сумел бы создать ничего,  
не будь у него матерьяльца.

Это сказал Гейне (перевод С. Я. Маршака в книге «Стихи, сказки, переводы». М., 1952).

## О ЯПИГАХ И ПЯТАКЕ

---

Чтобы правильно говорить и писать на родном языке, необходимо не только знание языкового материала — ощущать слова во всех их значениях и оттенках, но и знание языкового механизма — сочетать слова, строить предложения. В газете «Правда» были опубликованы «Заметки писателя — Звонок на русский» (9 января 1974). Автор справедливо замечает, что целые поколения при слове «деепричастие» вспоминают фразу:

штамп — «Пятак упал, звеня и подпрыгивая». И вот теперь, раскрыв новый учебник, писатель прочел тот же пример, но не вырванный неизвестно откуда, а в ситуации-картине. Фраза из мало удачного очерка «Когда шарманка перестала играть, чиновник из окна бросает пятак, который падает к ногам шарманщика» — под пером Достоевского превращается в живой образ. Ученик теперь прочтет и замечание самого Достоевского: «У тебя выходит слишком сухо: пятак упал к ногам... Надо было сказать: пятак упал на мостовую, звеня и подпрыгивая...». Великолепная страница, — заключает автор «Заметок». Что ж — действительно очень хорошо. Однако и эта «великолепная страница» не исчерпывает всех возможностей анализа: не раскрыта особенность восприятия Достоевского. А между тем в поправке Достоевского («звеня и подпрыгивая»), как в фокусе, отразился весь автор «Бедных людей», «Униженных и оскорбленных». Пятак брошен из окна, сверху вниз, брошен бедняку. Пятак, звеня и подпрыгивая, покотился, а его ловил, подхватывал несчастный, вечно униженный нищий-шарманщик. Это не простой образ, не простой деепричастный оборот: в языковом описании ситуации раскрывается мировосприятие самого Достоевского. Исчерпывающее толкование требует уже знакомства с творчеством Достоевского. Казалось бы, какой благодатный пример. Как он поможет учителю раскрыть связь «язык — литература — эпоха писателя». Но меня мучит один вопрос. Почему школьник так настойчиво стремится определить количество информации, необходимое для экзамена? И не больше. Пассивность? Отсутствие любознательности? Или перегруженность? Почему слово *перегруженность* стало постоянным спутником в жизни школьника?

Все чаще и чаще я вспоминаю одну «методическую страницу», но не из какого-либо пособия, а из романа Валентина Катаева «Хуторок в степи». Напомню ее. Она стоит этого. Петя Бачей дает урок латинского языка Гаврику Черноиваненко. Гаврик должен сдать экзамен за пять классов, и тогда он сможет получить работу наборщика в типографии. Гимназист Бачей самозабвенно погружается в предысторию и историю наречий неэтрасского населения, жителей Лациума, будущих римлян. А Гаврик просит: «...Ты мне, Петя, лучше сразу покажи ихний алфавит..., которые эти самые этруски и япиги, то мы их потом будем проходить, а пока что ударим по самим латинским буквам, как их писать. Нет?» (В. П. Катаев, Хуторок в степи. М., 1956).

Я не могу ответить на поставленный мною же самой вопрос, но мне представляется, что ученика нельзя перегружать информацией, у него должно быть чувство «голода» — узнать

еще, еще и еще. Сведения культурно-исторического, эмоционального, образного плана должны поддерживать, питать этот интерес (рассказ учителя, дополнительное чтение), но не утомлять, не превращаться в обязательный (просто!) фон в громоздких учебниках.

## КАЗНИТЬ КОРОЛЕВУ!

Однажды «Комсомольская правда» опубликовала статью «Селедка с вареньем» (25 февраля 1970). Это была очень остроумная, но и очень спорная статья. Дело в том, что абитуриентка, поступавшая в Московский университет, написала сочинение о подвиге — жизни и повседневном труде своей школьной учительницы. Автор статьи назвал это сочинение «Селедка с вареньем»: не может сочетаться будничный труд обыкновенной учительницы с подвигом, как не сочетается селедка с вареньем. А я думаю, что труд учительницы — подвиг. Если учительница воспитала настоящих граждан, то она совершила подвиг.

Подвиг — это не только мгновенный взлет, напряжение всех сил, но и труд ежедневный, бескорыстный, требующий постоянного напряжения, самосовершенствования, самообразования, самоотречения. Такой учитель — авторитет для ученика, пример, а труд его — подвиг. Жаль только, что не о каждом учителе захотят писать ученики сочинение, выберут его своим героем.

Так в «Литературной газете» одна из дискуссионных статей в рубрике «Язык и время» начиналась притчей о королеве, которая, не зная, как писать слово *помиловать*, написала *казнить!* (Литературная газета, 12 декабря 1973). А дальше автор сетовал, как низка культура речи школьных преподавателей, и мечтал о том, чтобы работы учеников по разным предметам проверяли вместе с преподавателями-«предметниками» — «курагоры»-словесники, то есть преподаватели русского языка. Значит, если королева не знает, как писать слово *помиловать*, то при ней должен быть грамотный министр? А может быть лучше казнить королеву? Если же преподаватель химии, физики, биологии или географии, а то и истории не знает своего родного языка, на котором преподает, то (не знаю в лучшем или худшем случае) его необходимо послать на курсы повышения квалификации или дисквалифицировать. К сожалению, это касается не только преподавателей-«предметников». Вот такая памятка была написана рукою преподавателя-словесника и вывешена в школьном кабинете русского языка в одной из московских школ:

«О подготовке к экзаменам по русскому языку... Большое место отведено в билетах на разбор предложений... В некото-

рых билетах от учащихся требуется подобрать или придумать самому то или иное предложение. Надо уже сейчас, повторяя материал, придумывать предложения, записывать их в тетрадь. Предложения надо составлять, используя художественные произведения, лучше из знакомых художественных произведений... Все, что неясно, надо обращаться к учителю за разъяснением».

Итак, внимание сосредоточено на разборе предложений — на структуре предложения и зависимости членов предложения друг от друга. Но разве сможешь играть на скрипке, если знаешь только законы зависимости тонов от размеров струн. Так порицал односторонность в изучении любого предмета Ф. Энгельс в своей работе «Анти-Дюринг» (М., 1948, стр. 133—134).

В памятке рекомендуется составлять «на каждый случай» предложения, используя художественные произведения, «лучше из знакомых»... А можно составить предложение, используя незнакомые художественные произведения? Константин Паустовский с ужасом вспоминал своего учителя французского языка мосье Говаса, который умел погрузить учеников в дебри неправильных глаголов и спряжений, превратить в тяжелую схему великолепный язык Флобера и Гюго. Судя по «памятке», живой великолепный язык Пушкина и Тургенева — это только источник грамматических иллюстраций.

И, наконец, заключительные строки «памятки» — «все, что неясно, надо обращаться...» — требуют перевода на русский язык: «Если что-либо остается неясным, то обращайтесь за разъяснением к учителю» или «Со всеми вопросами, возникающими в процессе подготовки к экзаменам, обращайтесь за разъяснением к учителю».

### **«И Я СПОРИЮ ТАК ЭНЕРГИЧНО ПРОТИВ ЭТИХ СЛОВ...»**

---

Так ли уж велика ошибка — неточное построение предложения или неверный выбор слова — в общем понятно, можно догадаться. И, может быть, спор о словах излишен? Ответить на этот вопрос хотелось бы словами Владимира Ильича Ленина. В 1902 году на втором проекте программы партии, подготовленной Плехановым, Ленин сделал замечания. Плеханов написал: «увеличение хозяйственного значения крупных предприятий, уменьшение относительного числа мелких, сужение их роли в общественно-экономической жизни страны» (В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, том 6, стр. 24). В. И. Ленин предлагает заменить: «мелкое производство все более вытесняется крупным», так как «увеличение значения крупных и сужение роли

мелких — это и есть вытеснение», и добавляет: «это чистейшая иллюзия, будто слова „увеличение значения и сужение роли“ более глубоки, содержательны, широки... И я спорю так энергично против этих слов не за их теоретическую неверность, а именно за то, что они придают вид глубины простой туманности» (стр. 26). И далее: «И с точки зрения стиля нежелательны эти слова... Это — не язык революционной партии, а язык „Русских Ведомостей“» (стр. 27).

## АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ

Слово печатное, или сказанное по радио или телевидению, может быть мощным воспитателем культуры речи. Ошибки здесь непростительны. Музыкальный обозреватель обязан следить за тем, как он говорит, а спортивный комментатор должен помнить о том, что миллионы болельщиков, обсуждая футбольный матч или состязания фигуристов, будут повторять его речевые ошибки. Но самым большим авторитетом является авторитет школьного учителя. Поэтому культура речи должна стать обязательным предметом на всех факультетах педагогических институтов.

Когда мы говорим о культуре речи, мы, конечно, говорим о недостатках. Но нельзя забывать и о достижениях. Иностранцы, приезжая к нам в страну, просят познакомиться с местными газетами, которые печатаются на жаргоне или диалекте — языке рабочих и крестьян. И мы с гордостью можем ответить, что у нас единый литературный язык, единое всеобщее среднее образование по общим программам, утвержденным Министерством просвещения и Академией педагогических наук. Это очень большое достижение. Но вот активное владение единым литературным языком может быть далеко не одинаковым. На фоне общих культурных достижений особенно досадны срывы и промахи. Вероятно, были бы полезны конкретные обсуждения определенных явлений на «языковом фронте». Почему бы не обсудить учебник литературы или русского языка? Обсудить не в специальном журнале, а на страницах газет, как, например, обсуждают художественные произведения. Разве роль учебника в воспитании поколения граждан меньше? А роль словарей, справочников, посвященных русскому ударению, произношению, орфографии всегда ли оценена по достоинству? Всегда ли эти издания популярны? Разве не заслуживают особого внимания популярные книги о языке? или известная уже за пределами нашей страны радиопередача «В мире слов»? или ставшая уже

постоянной, идущая по двум программам телепередача «Русская речь»?

Русский язык — это не просто язык одного народа. Это язык — проводник и хранитель культуры русского народа и разных народов нашей многонациональной Советской страны. Русский язык — это язык межнационального общения: с эстонской культурой грузин чаще всего и скорее познакомится на русском языке, узбек — с армянской, казах — с украинской и т. д. Русский язык — как язык мира и дружбы, язык науки и искусства — давно вышел на мировую арену. Внимание к русскому языку — закономерно. Это понятно всем. И нужно только занять самую активную позицию в воспитании речевой культуры.

А. А. БРАГИНА

# ЛИСТАЯ УЧЕБНИК

Продолжаем печатать небольшие пояснения к словам и выражениям, известным школьникам из учебников истории и литературы. Началю смотрите в № 1 за 1975 год.

## САМОДЕРЖЕЦ

Так в старину называли царей и государей, не только русских: «И в лето 1517 пришеде со многимъ воинствомъ султанъ Селимъ самодержецъ Турский (то есть турецкий)». Слово возникло задолго до того, когда самодержавие утвердилось как форма правления Московского государства.

Само слово прозрачно по смыслу и не нуждается в переводе: ‘сам держит (власть)’, поскольку *самодержец* употребляется применительно к владельческим особам. Однако в истории слова есть момент, скрытый от современника, но который оставил след в сегодняшнем значении слова.

В некоторых славянских языках у слова *сам* есть не только значение ‘сам’ но и значение ‘один’. В древнерусском языке оно тоже было, хотя, по-видимому, рано исчез-

ло и в памятниках встречается редко. Отмечено оно в Ипатьевской летописи под 1071 годом. Здесь рассказывается о том, что на Белоозере объявились два кудесника, обирали и убивали богатых женщин. Янь, княжеский сборщик дани, оказавшийся в этих местах, решил схватить их, «пойде самъ безъ оружья» (то есть пойдя к ним *один* и без оружия). Но люди отговорили его, и он взял с собой 12 вооруженных отроков.

Итак, если быть точным, то *самодержец* следует определить как 'тот, кто один держит власть', буквально 'единодержец'. Именно так называет князя Владимира один из писателей XI века митрополит Иларион: «И единодержецъ бивъ земли своеи». В Древней Руси великих князей называли также *самовластец* и *единовластец*. После смерти киевского князя Мстислава в 1034 году, как сказано в Лаврентьевской летописи, «перяя власть его всю Ярославъ и бысть самовластецъ Русьстѣи земли». В других списках той же летописи здесь стоит *самодержецъ*, а в Ипатьевской летописи в таком же тексте — *единовластецъ*. В памятниках встречается и глагол *самодержествовать*: «Мы убо, госпоже, вси князя Петра хоцем, да самодържствует над нами (то есть пусть *один* владеет нами) — из «Повести о Петре и Февронии» XVI век.

## СМУТНОЕ ВРЕМЯ

Вскоре после смерти Ивана Грозного на Россию обрушиваются события, захватившие все слои общества и поставившие государство на край гибели. Этот период вошел в нашу историю под названием «Смутного времени». Нам знакомы подобные выражения: мирное время, военное время, но почему *смутное*?

В современном языке *смутный* значит 'неясный, туманный, мутный; неопределенный'. Такое значение было у этого прилагательного и в XVII — XVIII веках. Для примера приведем записи из Походного журнала Петровского времени: «6-го. Погода средняя... воздухъ смутной»; «20-го. Смутно и ночью былъ дождь, вѣтръ былъ зюйдъ-зюйдъ-вестъ». Еще пример из памятника начала XVIII века — народная примета на декабрь месяц: «Когда отъ праздника рожества Христова по крещенье туманно и смутно (то есть 'пасмурно'), то надобно тот годъ болѣзней опасаться, а свѣтлость сихъ дней здравие людямъ и изобилие плодовъ являеть»,

Действительно, как пишет один из историков XIX века, Смутное время поражает своей неясностью, неопределенностью. Это не политическая революция и не социальный переворот, не просто нашествие врагов и не только борьба за престол, — здесь было все одновременно, вплоть до стихийных бедствий, какими были, к примеру, страшные неурожай 1601—1603 годов. Но едва ли это значение 'неясного, неопределенного' легло в основу названия: очень уж оно «спокойно» для таких бурных и трагичных лет.

У слов с корнем *мут* (*ить*) было еще одно значение — 'мешать, будоражить; сеять раздоры, неразбериху, мятежи, возмущение'. Кстати, *возмущение* — слово того же корня. Сейчас мы можем услышать: «Он вел себя возмутительным образом», но сравните с текстом времен Петра I: «И во время моей аудиенции изволили показать себя смутнымъ образомъ». «И беречь ихъ нарѣдко, — говорится в Отписке пустозерского воеводы 1666 года, — чтобъ они никуда не ушли, а бумаги и чернилъ имъ не давать и никакихъ смутныхъ речей у нихъ не слушать». Это значение сохранилось до нашего времени в словах *смута*, *смутьян* и прилагательного *смутный*, кажется, в единственном сочетании *смутное время*. Последнее и понимается как 'время смут, мятежей, смутений'.

Многие исторические названия возникают тогда, когда само событие остается далеко в прошлом и у людей бывает время, чтобы осмыслить его и определить для себя. Что же касается выражения *смутное время*, то оно употребляется



«Борис Годунов». Красная площадь.  
Рисунок П. Соколова-Скаля

уже тогда, в XVII веке, сначала как обычное свободное сочетание.

Приведем несколько отрывков из документов тех лет.

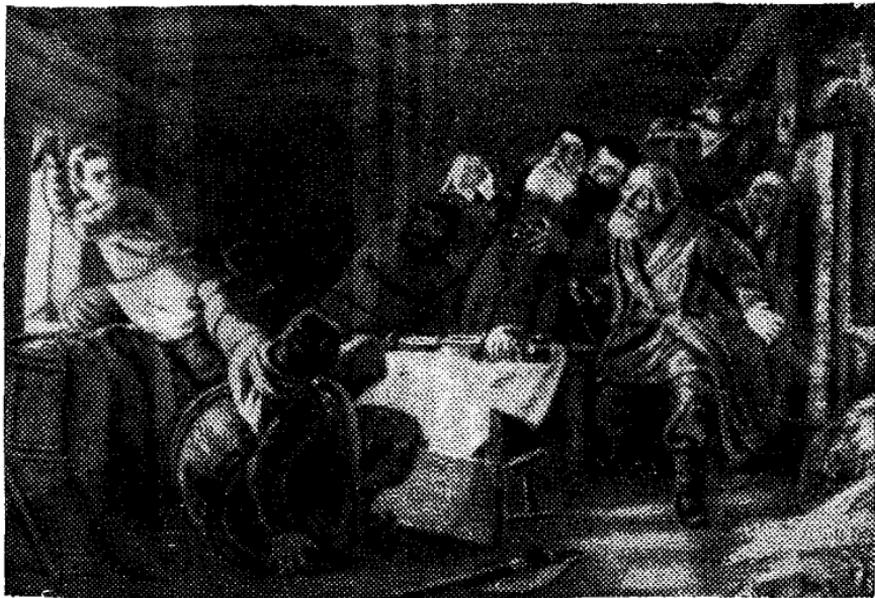
О Василии Шуйском. «Что онъ... будучи у насъ въ Московскомъ государствѣ въ смутное прискорбное время... противъ враговъ нашихъ польскихъ и литовскихъ людей и русскихъ воровъ (то есть разбойниковъ разнаго рода)... стоялъ крѣпко» (1610).

«И отъ того ихъ (польскихъ королей) смутного письма (‘возмущающаго народъ, зовущаго къ смуте, мятежу’) въ украинскихъ (‘окраинныхъ’) въ дальнихъ городѣхъ незнающіе простые люди и съ Дону и съ Волги и съ Яика воры казаки и почали быть въ смуте» (1613); «Писалъ къ намъ бояринъ нашъ... Морозовъ: въ нынешнѣмъ де... году, для смутнаго времени (предлог *для* значитъ ‘из-за, по причине’), ѣздилъ онъ помолитца къ чудотворцу Кириллу, и нынѣ... смутное время утихаетъ» (1646—1662).

### ДМИТРИЙ САМОЗВАНЕЦ

Одно изъ именъ Смутаго времени — Дмитрий Самозванецъ, бывший на Московскомъ престолѣ в 1605—1606 годахъ. «...Кто б ни былъ онъ: спасенный ли царевичъ, Иль некий духъ во образѣ его, Иль

«Борисъ Годуновъ». Бѣгство Григорія. Картина работы Г. Мясоедова



смелый плут, бесстыдный самозванец, Но только там Димитрий появился» (Пушкин. Борис Годунов).

Слово *самозванец* известно современному языку, означает оно и 'сам себя назвал', и 'сам себя позвал', то есть 'пришел, хотя не звали.'<sup>21</sup> Трудно решить, какое из значений было основным при возникновении слова, возможно, оба. Даже в нашем случае само по себе присвоение имени убитого в Угличе царевича Димитрия — без претензии на русский престол — по сути дела не было бы самозванством. Любопытно, что в древних памятниках *самозванный* значит 'явившийся незванным, пришедший по собственному зову'. Приведем два примера. «Отъ животныхъ же лоси, яко самозванни на заколение прихожаху» (XVI век), то есть из животных — лоси, сами на заколение приходили. «Тъщивому другу достойно на веселье звану прити, а при печали и нужь самозванымъ» (Пчела к. XIV век, л. 22), то есть 'настоящему другу следует на веселье приходиться, когда позовут, а в печали и беде — без зова'.

Н. В. ЧУРМАЕВА

---

#### ПРАКТИКУМ ПО СТИЛИСТИКЕ

Сопоставьте значения слова *свет* в реплике Друга и в ответной реплике Поэта. В каком значении употреблено слово *тьма* в приведенном отрывке из стихотворения А. С. Пушкина «Герой»? Сохранилось ли это значение в современном русском языке?

Друг

Мечты поэта —  
Историк строгий гонит вас!  
Увы! его раздался глас, —  
И где ж очарованье *света*!

Поэт

Да будет проклят правды *свет*,  
Когда посредственности хладной,  
Завистливой, к соблазну жадной,  
Он угождает праздно! — Нет!  
*Тьмы* низких истин мне дороже  
Нас возвышающий обман...

Герой

Ответ см. в следующем номере

Практикум по стилистике подготовила Л. И. Еремина

---

На вопросы читателей отвечают член-корреспондент АН СССР Р. И. Аванесов и зав. сектором культуры русской речи Института русского языка АН СССР Л. И. Скворцов

## О ПРОИЗНОШЕНИИ МЯГКОГО И ТВЕРДОГО ДОЛГОГО Ж...

Товарища А. И. Мирмикова из Пскова возмущает, что «даже большие русские актеры говорят *вижъжять, уежъжять*». К этим словам можно было бы прибавить *брюжъжять, дребежъжять, вожъжи, дрожъжи, пожъже* и другие. Но ведь такое произношение не ошибка: оно соответствует старой литературной норме, принято сценой и предпочтительнее, чем *вижжать, уежжать*. Произношение с твердым долгим *ж* распространяется все шире, сейчас оно уже не может считаться неправильным. Старая норма и новая в наше время сосуществуют. Будущее, видимо, за новой нормой. Пусть Вас не смущает, что при установке на образцовую речь (например, в театре, со сцены) будет звучать — *вижъжять, брюжъжять, уежъжяю* и т. д. Так произносятся слова, в которых пишется двойное *ж* или *жж* в пределах корня (сравните *вижжать — визг*). На стыке приставки и корня долгое *ж* произносится твердо. Например, *разжигать, изжить* (произносится сочетание {жжы}).

Другое дело — произношение согласного на месте *ж*: *вижу, мажу, жук, ножи, ножа, ножу*. Здесь обязательно должен произноситься только твердый *ж*.

Еще одно замечание о шипящих *ж* и *ш*. Они всегда твердые в русских словах. Есть несколько слов иноязычного происхождения: *брошюра, парашют*, которые произносятся с твердым *ш* (хотя 30—50 лет назад в речи интеллигенции звучали с мягким *ш*). Слово же *жюри* еще и теперь предпочтительно произносить с мягким *ж*: *жюри*. Хотя широко известно и произношение *жюри*. Видимо, за ним будущее, так как языку свойственно избав-

ляться от исключений. В некоторых иностранных фамилиях произносится мягкое *ш*, *ж*. Например, Шюц, Шёнберг, Жюль (произносится [ш'у], [ш'о], [ж'ул']).

Р. И. АВАНЕСОВ

## МАРГАНЦЕВЫЙ ИЛИ МАРГАНЦОВЫЙ?

Как правильно сказать: *марганцевый* или *марганцовый*? Где следует поставить ударение в этом слове?

В соответствии с современными нормами русского литературного языка, прилагательное, образованное от существительного *марганец*, может иметь двойное ударение: *марганцевый* и *марганцовый*.

Ударение на первом слоге соответствует «исходному» ударению в существительном: *марганец* — *марганцевый*. В соответствии с традиционной нормой произносятся сочетания: *марганцевые руды* (то есть «содержащие марганец»), *марганцевая соль* и т. п.

Однако ударение *марганцевый* довольно быстро получило вариант — *марганцовый* (с изменением и произношения). В профессиональной речи геологов встречаем, например, такие названия минералов, как *марганцовый шпат*, *марганцовый блеск* и т. п.

По-видимому, ударение на предпоследнем слоге — *марганцовый* — возникло не без влияния побочного ударения в сложных словах: *марганцово-кислый* (калий), *марганцово-калиевая* (соль), *марганцово-цинковые* (руды) и т. д. Сравните также ударение в разговорном существительном *марганцовка*.

Таким образом, в прилагательном от слова *марганец* в литературном языке наших дней считаются одинаково правильными два ударения: *марганцевый* и *марганцовый*. Однако нормативные словари-справочники современного русского языка иллюстрируют разные ударения в этом слове различными сочетаниями: *марганцевые руды* (то есть «содержащие марганец»), но — *марганцовый раствор* (собственно, «раствор марганца»).

Произойдет ли со временем поглощение одного из этих ударений другим, или они оба будут сохраняться в этих в общем-

то противопоставленных друг другу словосочетаниях, пока сказать трудно. Как будто, есть основания полагать, что ударение *марганцѳвый* более перспективно, так как встречается в подавляющем большинстве простых и сложных слов, образованных от существительного *марганец*. Однако станет ли это ударение единственным — покажет время.

## НОВОРОЖДЕННЫЙ ИЛИ НОВОРОЖДѢННЫЙ?

Как правильно сказать: *новорождѢнный* или *новорожденный*? Где следует поставить ударение в этом слове?

В соответствии с закономерностями русского литературного ударения, сложные слова, второй частью которых являются причастия, сохраняют «исходное» ударение. Мы говорим, например: *испечѢнный* (не *испѣченный*) — и скажем: *свежеиспечѢнный*, *новоиспечѢнный* и т. п.

Точно так же мы скажем: *нововведѢнный*, *новоизобрѢтый* и — *новорождѢнный*.

В разговорной речи, нелитературном просторечии существует давно подмеченная языковедами тенденция переносить ударение в сложных, многослоговых словах (с пятью и более слогами) ближе к началу слова. Говорят, например: *новоиспѣченный*, *новоизобрѣтенный* и — *новорожденный*.

Такие ударения, несмотря на то, что некоторые из них давно известны в языке, не могут быть признаны правильными, литературными. Следует говорить: *новорождѢнный*, *новорождѢнная* (а не *новорожденный*, *новорожденная*).

В «Толковом словаре русского языка» под редакцией профессора Д. Н. Ушакова была сделана попытка разграничить ударения *новорождѢнный* и *новорожденный*. Ударение *новорождѢнный* ушаковский словарь дает (с пометой «просторечное») только для прилагательного: *новорожденная* девочка. В значении существительного рекомендуется только *новорождѢнный* и *новорождѢнная*.

Следует сказать, что такое нормативное «расподобление» в дальнейшем не закрепилось, и от него пришлось отказаться. В известном словаре-справочнике «Русское литературное произношение и ударение» под редакцией Р. И. Аванесова



## ● ХЛЕБОРОБ

С. В. Соколовский из Риги интересуется употреблением слова *хлебороб* в современном русском языке.

*Пахарь, пахотник, земледельатель, земледел, земледелец, землешашец, землероб, хлебопашец, сеятель, крестьянин* — какие разные слова существовали и существуют для названия тех, кто занимается выращиванием хлеба. Словосочетание *труженик сельского хозяйства* образовано буквально на наших глазах, несмотря на то, что само слово *труженик* в русском языке было известно еще в XVIII веке. Так называли, да и по сей день называют, того, кто усердно трудится в какой-либо определенной области. Труженик сельского хозяйства — как бы общее название всех лиц, занятых сельским хозяйством: будь то агроном или механизатор, свекловод или полевод, овощевод или хлебороб.

Одним из слов-долгожителей, связанных с сельским хозяйством, является слово *земледелец*. Его одним из первых включил в «Лексикон треязычный...» Федор Поликарпов в 1704 году. Есть все основания считать, что это слово широко употреблялось в русском языке задолго до своей первой лексикографической фиксации. За Поликарповым слово *земледелец* постоянно вводится во все толковые и двуязычные словари русского языка.

Как синоним к слову *земледелец* в русском языке XIX века было слово *земледел*: «Пастух и земледел в младенческие лета, Взглянув на небеса, на западную тень, Умеют уж предречь и ветр, и ясный день...» (Пушкин. Приметы). В современном русском литературном языке это слово устарело.

Время появления в русском языке слова *хлебороб* языковеды пока точно не установили. Впервые зафиксировал его в 1776 году словарь П. Алексеева — «Дополнение к церковному словарю». Как ни странно, но больше ни в один словарь русского языка XVIII века слово *хлебороб* не вошло. Вновь появилось оно в словарях русского языка только в XX веке.

«Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова так описывает это слово: «*Хлебороб*, а, м. [укр.] (книжи). Хлебопашец, крестьянин». С этого времени слово *хлебороб* входит во все современные толковые словари русского языка, которые подтверждают его украинское происхождение.

Действительно, если обратиться к украинскому языку, то в нем употреблялись и употребляются и глагол *хліборобити* «заниматься земледелием»; и прилагательное *хліборобний* «пахотный (о земле)», и существительное *хліборобство* «земледелие, хлебопашество», *хлібороб* «тот, кто занимается выращиванием хлеба». В украинском языке *-роб* — суффиксоид (повторяющаяся в ряде сложных слов общая корневая часть). Вторые части в русских словах *хлебороб*, *маслодел*, *свекловод* тоже являются суффиксоидами. Но если *-дел* и *-вод* очень продуктивны, например: *чаевод*, *голубевод*, *растениевод*, *полевод*, *каракулевод*, *оленовод*, *конеvod*, *овцевод*, *овощевод*, *бракодел*, *маслодел*, *ковродел*, *винодел*, *сыродел* и др., то *-роб* своими словообразовательными способностями в русском языке похвастать не может. «Обратный словарь русского языка» (М., 1974) приводит всего два слова, образованных по аналогии со словом *хлебороб*, — *землероб* и *хлопкороб*: «...Ленин приехал с рассветом К простым землеробам села» (Орлов. Ленин в Кашине).

Как известно, судьба слов *землероб* и *хлопкороб* сложилась в русском языке по-разному. Слово *землероб* не выдержало конкуренции с *земледелец* и другими подобными, обозначающими того, кто занимается выращиванием хлеба. Слово же *хлопкороб* прочно вошло в состав современного русского литературного языка. Языковедами зафиксировано еще одно слово с суффиксоидом *-роб* — *рисороб* «тот, кто занимается выращиванием риса», оно пока значится на правах окказионального (случайного).

С момента появления слова *хлебороб* в современном русском литературном языке несколько раз менялась его стилистическая окраска. Если в 40-е годы, по данным «Толкового словаря русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова, оно считалось книжным, а в 60-е годы, по наблюдениям лингвистов, употреблялось как обычное, вполне литературное слово, не носящее никаких особых стилистических или смысловых оттенков, то в наши дни, в 70-е годы XX века, слово *хлебороб* несет на себе печать особой торжественности, свойственной высокому стилю речи: «„Хлебороб“, — говорим мы и теперь, и голос наш неизменно обретает глубоко уважительную интонацию. Мне лично кажется, что о хлебе давно надо было говорить во всю силу легких, в полный, что называется, голос, и производство зерна приравнять по значимости к производству высококачественной стали» (М. Алексеев).

Земля, хлеб, люди). Эта стилистическая функция слова отмечена в «Словаре русского языка» С. И. Ожегова (9-е изд., М., 1972): «Хлебороб, -а, м. (высок). Крестьянин, земледелец».

Слово *хлебороб* широко употребляется на страницах газет в официальных отчетах о ходе сельскохозяйственных работ, в корреспонденциях о севе или уборке урожая.

Вряд ли сейчас у нас можно найти газету, которая бы не писала о жизни современной деревни, о трудной и почетной работе тружеников сельского хозяйства. В период подготовки к севу, в разгар уборки урожая газеты на видных местах помещают рапорты земледельцев, сообщают о трудовой победе хлеборобов нашей необъятной Родины.

Словарь-справочник «Правильность русской речи» (М., 1965) отмечает, что при слишком частом употреблении слово *хлебороб* может стать штампом. Журналисты и писатели, как правило, используют весь синонимический арсенал, куда входят, например, следующие слова и словосочетания: *землепашец, пахарь, крестьянин, сеятель, хлебопашец, сельский труженик, рядовой полей, хранитель земли, хозяин земли, земледелец, колхозник, работник сельского хозяйства, труженик полей, труженик села, труженик сельского хозяйства, солдаты и командиры степных просторов: «Труженики сельского хозяйства Тамбовской области, претворяя в жизнь решения XXIV съезда партии, выполнили народнохозяйственный план продажи зерна государству... Большую помощь земледельцам области в уборке и вывозке хлеба оказали предприятия промышленности, транспорта, строек» («Известия», 1 октября 1974).*

*В. Н. Сергеев*

## ● ЖАР — ЖАРА

«В № 6 за 1974 год я прочитала статью о слове *крыша*. Оказывается, в конце XVIII века оно воспринималось как „простонародное“. Интересно узнать, есть ли еще в нашем языке слова, с которыми произошли такие же изменения?» — спрашивает Е. С. Кондратьева из Уфы.

В русском языке аналогичную судьбу имеют многие слова. Мы расскажем об одном из них, слове *жара*. Это слово в течение длительного времени было свойственно только разговорной речи и не привлекалось в письменные источники. В картотеке Словаря русского языка XI—XVII веков оно совсем не отмечено. Отсутствие в ней случаев употребления данного слова в единствен-

ном числе позволяет предполагать, что встречающиеся в памятниках письменности словоупотребления *жары*, *жаров* — формы однокорневого *жар*.

Слово *жар* еще в древний период имело несколько значений: «зной; высокая температура воздуха, нагретого солнцем или каким-либо другим источником тепла», «раскаленные угли без пламени», «повышенная температура тела». Для первой половины XVIII века характерны также переносные значения: «сильное душевное волнение» и «напряжение, разгар, пыл (битвы)». Это слово издавна употреблялось как в разговорной речи, так и в письменной.



Давняя традиция употребления в письменности и наличие более широкого (по сравнению с *жара*) круга значений позволили слову *жар* не только довольно долго удерживаться в литературном языке, но и преобладать в употреблении.

В «Словаре Академии Российской», составителями которого были выдающиеся представители русской литературы и науки XVIII века (в их числе — Фонвизин, Богданович, Державин, Княжнин, Е. Дашкова — президент Академии, Лепехин — секретарь Академии и многие другие) *жар* приводится без ограничительных помет. А слово *жара* в первом и втором изданиях этого Словаря характеризуется как «в просторечии употребляемое для означения весьма жаркого летнего времени», то есть оно однозначно и признается носителями литературного языка конца XVIII века допустимым лишь в «простой», разговорно-непринужденной речи. В литературе конца XVIII века слово *жара* употребляется в речи персонажей или в переписке писателей.

Несколько иная картина наблюдается в пушкинскую эпоху. В это время активизируется процесс демократизации литературного языка: в него входит значительное количество слов, считавшихся ранее принадлежностью разговорной речи. Это преимущественно экспрессивно окрашенные слова, для которых в литературном языке не было точно совпадающего нейтрального синонима. Так, слова *нагрнуть* «неожиданно прийти куда-нибудь или

появиться где-нибудь', *нахлынуть* 'прийти, появиться во множестве' и другие, находившие применение (судя по материалам картотеки Словаря русского языка XVIII века) только в «низких» жанрах (комедиях, баснях, сатирах) и переписке, именно в первой трети XIX века проникают в литературный язык как вполне нормативные. Свидетельство тому — наличие их в контекстах не только стилистически нейтральных, но и «высоких»: «От Волги, Дона и Днепра... Стеклись, *нагрянули* за честь твоих граждан, За честь твердынь и сел, и нив опустошенных...» (Батюшков. Переход через Рейн); «Ты был под знаменами славы; Ты видел, друг, следы кровавы На Русь *нахлынувших* врагов» (Жуковский. К Воейкову. Послание).

Кроме того, отдельные разговорно-просторечные слова, имевшие в литературном языке синонимичное обозначение соответствующего понятия, начинают расширять сферы своего употребления и выходят за пределы разговорной речи. Так было, например, и со словом *жара*, эквивалентом которого в литературном языке издавна служило слово *жар* (в одном из своих значений).

По нашим наблюдениям, в первой трети XIX века слово *жара* уже не воспринималось как стилистически сниженное. Его можно обнаружить не только в речи персонажа из «простонародья» (см., например, «Рассказ русского солдата» Н. Полевого), но и в авторском повествовании: «Медленность нашего похода (в первый день мы прошли только пятнадцать верст), несносная *жара*, недостаток припасов, беспокойные ночлеги... выводили меня из терпения» (Пушкин. Путешествие в Арзрум). Однако есть все основания считать, что в пушкинский период слово *жара* уступало в количественном отношении слову *жар* (в синонимичном значении).

В «Словаре языка Пушкина» (при единичном *жара*) отмечается 22 случая употребления слова *жар* в значении 'зной, жара; знойные, жаркие дни': «Пустился с бардами Тоскар, Идет во мгле ночи печальной, В вечерний хлад, в полдневный жар» (Кольна). У современников Пушкина слово *жара* совсем не встречается, а *жар* — неоднократно: «В грязи замаран весь он терпит холод, жар» (Батюшков. Перевод 1-й сатиры Боало); «А если жар для стад жесток, Сmani их к роце в холодок...» (Жуковский. Летний вечер); «...В наш краткий летний жар тобою был любим...» (Баратынский. Дядьке-итальянцу).

Наметившаяся в пушкинское время тенденция к переходу слова *жара* из просторечных в разряд литературно-нейтральных закрепляется в последующую эпоху (в Словаре 1847 года оно дается без стилистической пометы). В художественной прозе середины XIX века, судя по словоупотреблению Тургенева, *жара* привлекается примерно одинаково со словом *жар*. Так, в «Записках охотни-

ка» жара используется семь раз: два в речи крестьян (Власа — в «Малиновой воде» и Лукерья — в рассказе «Живые мощи») и пять в авторском повествовании: «...Жара все не унималась» и «...Жара немного спала» (Касьян с Красивой Мечи); «Наконец жара и усталость взяли, однакож, свое, и я заснул мертвым сном» (Певцы). Встречается это слово и в других произведениях Тургенева, например в «Поездке в Полесье», а также у многих его современников: в «Обломове» Гончарова, в очерке Н. Успенского «Работница», в «Губернских очерках» Салтыкова-Щедрина и др.

Слово жар (в значении «зной, жара») используется Тургеневым в «Записках охотника» тоже семь раз, и только в авторской речи: «Мы сидели неподвижно, подавленные жаром» (Малиновая вода); «Душный жар внезапно сменился влажным холодом» (Бирюк) и др. Сравните также в романе «Накануне»: «...что вздумала в самый припек жара выкупаться в пруду».

Однако в поэтической речи середины XIX века употребление слова жар, по всей видимости, преобладает над словом жара. В поэзии Некрасова, например, если не учитывать спорных случаев (формы жары, возможной как от слова жара, так и от жар), слово жара представлено лишь единственным примером: «Стой, ямщик! жара несносная, Дальше ехать не могу!» (Песня Еремужке), а жар (в том же значении) — четырежды: «В сильный жар да в морозы фрескучие В Петербурге пожарные случаи Беспрестанны» (О погоде); «Уж скоро полдень. Жар такой, Что на песке горят следы» (На Волге) и другие.

Слово жар в указанном значении продолжает существовать в языке и в последующее время, оно известно и современному русскому литературному языку, но более употребительным становится жара. Показательно свидетельство Толкового словаря под редакцией Д. Н. Ушакова об этом значении слова жар: «выходит из употребления, заменяясь словом жара».

Е. П. Ходакова

Рисунок В. Толстоногова

## ● ВЫХОДНАЯ ОДЕЖДА

С. В. Соколовский из Риги спрашивает, не связано ли значение сочетания *выходной день* с *выходной одеждой*, «в которой мы выходим на люди, в гости, то есть с праздничной одеждой».

«Словарь русского языка» С. И. Ожегова (изд. 9-е. М., 1972) дает в качестве одного из значений слова *выходной* — «надеваемый не для работы, праздничный, нарядный. *Выходной костюм. Выходное*

платье». То же находим в «Толковом словаре русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова: «*Выходной*... Предназначенный для надевания в парадных случаях (об одежде, в которой появляются в гостях, в обществе)».

Однако, как свидетельствует материал Картотеки Словарного сектора Института языкознания АН СССР (Ленинградское отделение), первоначально слово *выходной* применительно к одежде употреблялось в своем основном значении — «связанное с выходом откуда-нибудь»: *выходное платье* (платье, предназначенное для выхода из дома). Вот некоторые примеры из Ленинградской картотеки:

«Наталья Степановна, забывая себя, смотрела на эту многолюдную хлопотную, на оживленный труд веселых людей в овчинных шубейках, в своих *выходных пальтишках*» (Ф. Гладков. Сердце матери); «Приодевшись в свой обычный *выходной костюм*, Пружинкин отправился, наконец, в город» (Мамин-Сибиряк. Именинник); «В это время на ступенях крыльца дома, занимаемого генералом, показалась высокая женская фигура в светлом платье, без шляпы и без всякого *выходного убора*» (Лесков. На ножах).

Значительно позже, с 50-х годов XX века, слово *выходной* в сочетании с существительными, обозначающими предметы одежды, начинает употребляться в значении «предназначенный для одевания в выходной день», то есть непосредственно связывается со значением словосочетания *выходной день* (об истории этого сочетания см.: «Русская речь», 1974, № 4). Вот пример, взятый нами из журнала «Модели с чертежами кроя» (М., 1961): «Для выходного платья, в котором Вы пойдете в театр, на концерт или в гости, можно выбрать более яркую и светлую шерстяную или шелковую ткань и сшить это платье интересного фасона».

В этом значении слово *выходной* сочетается со следующими существительными: *платье, костюм, платье-костюм, комплект, ансамбль, туалет, платье-тюник, жакет* и т. п., а также *туфли, сумки* и просто *одежда, обувь*. Приведем несколько примеров.

«*Выходной ансамбль*: „маленькое“ простое по покрою платье (с короткими рукавами) и короткий жакет из светлой шерстяной ткани» (Модели одежды. М., 1960); «Креп-марокен — тяжелая плотная непрозрачная ткань... Из такой ткани можно сшить и скромное, и *выходное*, и нарядное платье...» (Модели и ткани. М., 1959); «Принято считать, что *выходной костюм* может быть только черного цвета... Теперь для выходных костюмов приняты ткани темных оттенков серого, синего или зеленоватого цветов» (Мужская одежда. М., 1961); «Из искусственного шелка темных тонов можно сделать так называемое „универсальное платье“. Днем вы находитесь в нем на работе, вечером, дополнив его украшениями и *вы-*

ходными туфлями на высоком каблуке, можете пойти в нем в гости, в театр, на концерт» (Ткань и одежда. М., 1965—1966); «Выходной туалет. Блузка из гладкокрашеной ткани, без рукавов, с отложным воротником на стойке...» (Моды. 1956—1957).

Для того чтобы подчеркнуть принадлежность *выходного платья*, используются определения *весеннее, летнее, вечернее*: «Весенний выходной костюм из искусственного шелка» (X Международный конгресс мод. М., 1960); «Летнее выходное платье из хлопчатобумажной ткани с рисунком в крупный горох» и «Наибольшая свобода фантазии предоставляется при выборе ткани и фасона для выходного вечернего туалета» (Модели с чертежами кроя. М., 1961).

С середины 60-х годов намечается тенденция к замене сочетания *выходное платье (костюм и т. п.)* сочетанием *нарядное платье (костюм и т. п.)*. Это свидетельствует о том, что слово *выходное* в сочетании *выходное платье* постепенно приобретает значение «нарядное, праздничное»; «*Платья нарядные*: Выходное платье из плотного набивного шелка типа „Псковитянка“...» (Модели одежды. 1966); «*Платья-костюмы нарядные*: ...Летний выходной платье-костюм из новой ткани „Симфония“» (там же); «*Выходные платья* — это платья, которые могут быть использованы и в повседневной доске и как нарядные» (Направление моды. 1970).

В журналах мод 1973—1974 годов отмечается преобладание сочетания *нарядное платье (костюм)* над сочетанием *выходное платье (костюм)*. *Выходное платье (костюм)* встретилось в этих журналах всего несколько раз: «Выходное платье... Большой белый воротник и манжеты, приметывающиеся под рукава, придают платью нарядный, торжественный вид» (Модели. 1973—1974); «Выходное летнее платье из легкой шелковой ткани...» (Мода. Ленинградский дом моделей одежды. 1973); «Выходной летний костюм из светлой ткани с лавсаном...» (там же); «Выходной комплект для молодой девушки...» (там же); «Летние выходные платья из набивного кримплен» (там же).

С. Н. Дмитренко

## ● УНИВЕРСАМ

Преподаватель из Тбилиси Т. И. Гвинадзе пишет: «Меня интересует, каково происхождение и состав слова *универсам*, сокращение какого слова представляет собою вторая часть этого слова *-сам*».

Название *универсам* — новое слово, появившееся в русском языке в самое последнее время, уже в семидесятых годах. Это на-

звание магазина нового типа, универсального магазина самообслуживания.

Само слово *универсам* представляет собой аббревиатуру, то есть сокращение полного обозначения: *универ-* (универсальный) + *-сам* (самообслуживания). Например: «Когда заходит речь о техническом прогрессе в торговле, как правило, в пример ставят универсамы — новые универсальные магазины самообслуживания, весьма удобные и современные» («Правда», 14 февраля 1973).

Наименование *универсам* получили магазины самообслуживания, основными товарами которых являются продовольственные, а в качестве сопутствующих — предметы кухонного обихода: «В последние два-три года самообслуживание родило новый тип магазина — универсам... В огромном магазине небывало много товаров. Покупатель в считанные минуты может приобрести все необходимое. Вдобавок там не только продовольственные товары» («Литературная газета», 30 мая 1973).

Вместе с тем в языке существует название магазина, также представляющее собой аббревиатуру с такой же первой частью — *универмаг*, то есть «универсальный магазин». Но *универмагами* называются магазины совсем иного профиля — это магазины, основными товарами которых являются промышленные, а продовольственные товары в них возможны как сопутствующие, необязательные.

Как же следует оценить эти названия? Оба ли они «законны», правильны или какое-то из них появилось в нарушение языковых закономерностей?

Прилагательное *универсальный* (из лат. *universalis* 'всеобщий'), сокращением которого и является элемент *универ-*, имеет значение «всеобщий, всеобъемлющий; разносторонний, для всего пригодный». Это общее значение не препятствует употреблению данного прилагательного в самых различных более узких, ограниченных значениях при характеристике конкретных, реальных предметов. Поэтому и *универмаг* «универсальный магазин, торгующий преимущественно промышленными товарами», и *универсам* «универсальный магазин самообслуживания, предлагающий как основные товары продовольственные» — лексические образования, абсолютно закономерные с точки зрения их соответствия системным лексическим особенностям.

Несколько затрудняет первоначальное, внеконтекстное понимание названных образований, использование в том и другом слове первой части *универ-*. Но различие вторых частей *-сам* и *-маг*, языковая традиция делают для носителей языка безошибочным понимание значений слов *универсам* и *универмаг*.

Г. И. Миськевич

## ● МАНСАРДА

Происхождением слова *мансарда* интересуются П. А. Чистякова из Томска и Н. И. Крымов из Астрахани.

Разным языкам известны слова, ведущие свое происхождение от собственных имен: имен древних богов и легендарных героев, фамилий изобретателей и ученых, названий городов. Вспомним, например, слова: *вулкан*, *гитан*, *наган*, *дизель*, *рентген*, *макинтош*, *болонья*, *брюки*, *силуэт*, *сэндвич* и другие.

К таким именам принадлежит и *мансарда*. Слово *мансарда* пришло к нам из французского языка (*mansarde*) и обозначает жилое помещение под самой крышей,

точнее — чердак, предназначенный для жилья, с высоким косым потолком или косой стеной и слуховыми окнами.

Дома такого стиля получили распространение во Франции в XVII веке. Само название *мансарда* связано с именем известного французского архитектора Франсуа Мансара (*Mansart (d)*, 1598—1666), достойно развивавшего национальные традиции французской архитектурной школы. К лучшим его произведениям относится замок Мезон на Сене, где проявились наиболее характерные черты этого мастера: стремление к гармонии изящества и рациональности. Отражая национальную готическую традицию, французские архитекторы и до Мансара использовали высокие крыши не только как элемент декоративно-художественного решения, но и для пользы дела, устраивая на чердаках под ними жилые комнаты. Франсуа Мансару и его ученику, внучатному племяннику Ж. Ардуэн-Мансару (1646—1708), ставшему крупнейшим архитектором Франции II половины XVII века, выпало счастье увековечить такими постройками свое имя.

Здания с мансардами стали строить и в других европейских странах. В XVIII веке появились они и в России. Ср.: «Сейчас завершено восстановление этого памятника... Первый этаж хозяйственный, второй, деревянный, — парадный. Такой же и верхний, занимаемый жилыми комнатами. В сущности это не этаж, а крестовидная мансарда, типичная для XVIII века» («Ве-



черняя Москва», 15 февраля 1975). Одну из первых словарных фиксаций слова *мансарда* находим в Толковом словаре В. И. Даля: «*Мансард* м. или *мансарда* ж., [фрн., от имени архитектора Mansard], горенка, теремок, вышка».

В XIX веке дома такого типа стали обычными и для больших городов. В маленьких комнатухах мансард жили начинающие художники, музыканты, бедные студенты. В. Г. Короленко, описывая в «Истории моего современника» первые годы жизни своего героя в Петербурге, упоминает о мансардах: «В том же доме освободилось под самой крышей помещение как раз на четверых, и оно может быть названо великолепным литературным словом *мансарда*».

Дома с высокими крышами, под которыми находятся жилые комнаты, до сих пор являются характерной особенностью городского пейзажа некоторых северных стран. Любимым героям известной шведской писательницы Астрид Линдгрен не составляет труда перебраться с крыши в мансарду: «Они поползли вдоль карниза, пока не добрались до окна мансарды. Карлсон поднял голову и осторожно заглянул в комнату... Малышу не захотелось оставаться одному на крыше, и он тоже перелез через окно вслед за Карлсоном» (Две повести о Малыше и Карлсоне, который живет на крыше. М., 1965. Перевод со шведского Л. Лунтиной).

В нашем современном языке это слово используется, как и раньше, для обозначения помещений такого типа, преимущественно в загородных домах и постройках. «Из тех же самых щитов, оказывается, можно собрать очень уютное общежитие с мансардой... Я через десяток дней переходил из комнаты в комнату, останавливался у непромытых еще окон, поднимался по витой, незатоптанной белой лестничке на мансарду, тогда еще открытую небу. На крутые стропила плотники укладывали разноцветные листы кровли» («Комсомольская правда», 13 февраля 1975).

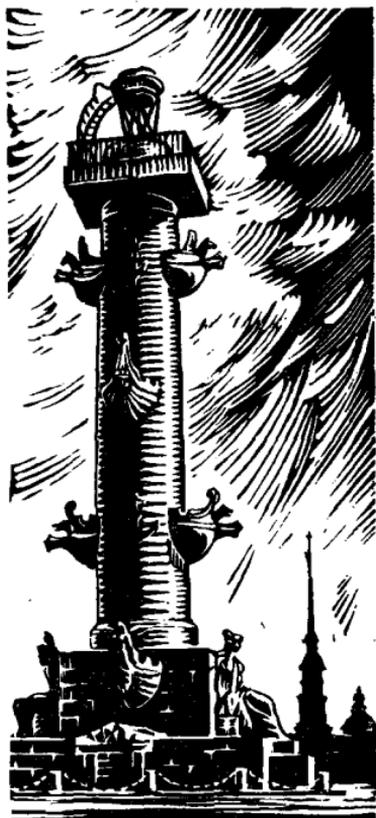
Е. И. Голанова  
Рисунок В. Толстоногова

## ● РОСТРАЛЬНАЯ КОЛОННА

Читательница С. Ценкер из Ленинграда просит рассказать о происхождении наименования *ростральная колонна*.

Прилагательное *ростральный* восходит к латинскому слову *rostrum*. Первоначально *rostrum* имело значение 'клюв, рыло,

морда, но позднее древние римляне стали так же называть определенное военное орудие — таран в виде выступающего вперед бревна с бронзовым или железным наконечником, который был просто заостренным или имел форму клюва, головы какого-либо животного. Этот таран, роstrum (или роstr), римляне размещали в носовой части корабля под водой, для того чтобы пробивать им борта вражеских судов. Не будучи особенно хитроумным изобретением, роstr тем не менее стал грозным оружием: обшивка кораблей тех времен не могла выдержать его удара. Поскольку роstr размещался впереди, позднее это наименование закрепилось за всей носовой частью корабля. На основе этого значения слова *rostrum* — ‘нос корабля’ — и возникло название *ростральная колонна*.



В Древнем Риме существовал обычай воздвигать в честь важных морских побед колонны, стволы которых украшались носами вражеских кораблей, роstrами (древние римляне рассматривали их как почетные военные трофеи). Эти колонны и получили название ростральных (*columna rostratae* и *colonnae rostrales*). В частности, такая колонна была поставлена на римском форуме в честь морской победы над карфагенянами, одержанной консулом Гаем Дуилием в 260 году до н. э. Римляне украшали носами вражеских кораблей и другие сооружения, например трибуны, которые носили названия *rostra*. Отсюда, кстати, и выражения *in rostris* ‘на трибуне’ и *pro rostris* ‘с трибуны’.

Появление в русском языке словосочетания *ростральная колонна* связано с сооружением в России колонн этого типа. Так, в Царском Селе (ныне город Пушкин) в 1771—1778 годах архитектором А. Ринальди была построена так называемая «Чесменская колонна» — в честь победы русского флота в битве при Чесме.

Но наиболее известны у нас ростральные колонны архитектора Тома де Томона перед зданием бывшей Биржи (ныне

Центральный военно-морской музей) в Ленинграде (строительство архитектурного комплекса на стрелке Васильевского острова продолжалось с 1805 по 1810 год). Фусы (стволы) этих колонн украшены изображениями корабельных носов. У подножия расположены скульптурные группы: четыре фигуры символизируют четыре великие русские реки — Волгу, Днепр, Неву, Волхов.

Ростральные колонны Тома де Томона были построены не в честь какой-либо знаменательной морской победы: их предназначение заключалось в том, чтобы, с одной стороны, служить маяками, а с другой — подчеркивать значение биржевого здания как центра Петербургского порта. Основной же идеей архитектурно-художественного ансамбля, созданного по проекту Тома де Томона, было прославление торгового и морского могущества России.

*С. И. Виноградов*  
*Рисунок Б. Захарова*

---

#### РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

**В. И. БОРКОВСКИЙ** (главный редактор),  
**Е. А. БАСИЛЕВСКАЯ, В. П. ВОМПЕРСКИЙ, К. В. ГОРШКОВА,**  
**В. П. ДАНИЛЕНКО, В. Я. ДЕРЯГИН, И. Г. ДОБРОДОМОВ,**  
**В. А. ЕРЕМИН, Л. П. ЖУКОВСКАЯ, Л. М. ЛЕОНОВ,**  
**А. И. СВЧАРЕНКО, И. Ф. ПРОТЧЕНКО** (зам. главного редактора),  
**Л. И. СКВОРЦОВ, Ю. С. СОРОКИН, Ф. П. СОРОКОЛЕТОВ, Ф. П. ФИЛИН**

Ответственный секретарь **О. А. ХАМИЦАЕВА**

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, Волхонка, 18/2  
Телефон: 202-65-25

Зав. редакцией *Т. С. Колмакова*  
Художественный редактор *Т. А. Михайлова*  
Корректоры *В. В. Беляев, Г. Н. Шамина*

---

Сдано в набор 11/IV—1975 г. Подписано к печати 25/VI—1975 г. Т-10537  
Тираж 65 000. Формат бумаги 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Усл. печ. л. 8,4. Бум. л. 2,5.  
Уч.-изд. л. 10,1. Зак. 2025.

---

2-я типография издательства «Наука». Москва, Шубинский пер., 10